

СИБИРИАДА

ВЛАДИМИР  
КОРОЛЕНКО



Марусина  
Занимка

# Владимир Галактионович Короленко

## Марусина заимка (сборник)

### Серия «Сибириада»

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=36128373](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=36128373)*

*Марусина заимка – Владимир Короленко : Вече; Москва; 2018*

*ISBN 978-5-4484-7287-9*

### Аннотация

Владимир Галактионович Короленко (1853–1921) – выдающийся русский писатель, журналист и общественный деятель, без творчества которого невозможно представить литературу конца XIX – начала XX в. Короленко называли «совестью русской литературы». Как отмечали современники писателя, он не закрывал глаза на ужасы жизни, не прятал голову под крыло близорукого оптимизма, он не боялся жизни, а любил ее и любовался ею.

Настоящая книга является собранием художественных произведений, написанных Короленко на основе личных впечатлений в годы ссыльных скитаний, главным образом во время сибирской ссылки. В таком полном виде сибирские рассказы и очерки не издавались в России более 70 лет.

# Содержание

Сибирское «хождение по мукам» Владимира	5
Короленко	
Чудная	20
Яшка	45
Убийец	96
Сон Макара	172
Соколинец	214
Конец ознакомительного фрагмента.	222

**Владимир Галактионович  
Короленко  
Марусина заимка  
(сборник)**

© ООО «Издательство „Вече“», 2018

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия,  
2018

# **Сибирское «хождение по мукам» Владимира Короленко**

Политика и литература... Эти две неравнозначные сферы соприкасались в России теснее, чем в каких-либо других странах. Неизбывное неустройство социальной жизни заставляло русских писателей не только отражать ее «язвы» в своем творчестве, затрагивая при этом обширную и многозначную область политики, но и самим включаться в разных формах в кипевшее в стране непрерывное политическое соперничество. На этом пути мастеров слова ждали гонения, политические преследования, тюрьмы, ссылки и даже эшафот. Девятнадцатый век прошел под знаком постепенного, все более явного сопряжения в звании писателя художественного мастерства и политической неблагонадежности.

Не избежал счастья и горечи испытать из этой «чаши» и Владимир Галактионович Короленко, уличенный в противоправительственной деятельности и отдавший около девяти лет своей молодости познанию народной жизни с изнаночной стороны тюрем, ссылок и проживания на поселении. Такой тягостный жизненный опыт, по сути, и сделал из него писателя, чей окрепший в жизненных испытаниях голос влился в хоровое многоголосье великой русской литературы, жившей по законам правды, любви и добра.

Отойдя от прямого революционного подвижничества, Короленко тем не менее долгие годы числился в качестве неблагонадежного под негласным полицейским надзором. И он не сложил с себя призвания служить нуждам народа, неоднократно доказывая это своим пером.

Таинство рождения, формирования и расцвета истинных писателей вообще не поддается однозначному разгадыванию и упрощенной расшифровке, но, несомненно, обязательное место в нем занимает богатая жизненная школа гениев пера, дающая возможность благотворного погружения в людскую стихию и отображения ее яркими живописными красками. Ощущение себя в гуще жизни, сострадание ей – это чаще всего горький, но не заменимый ничем хлеб писательского труда, без которого «слово изреченное» не живет, не дышит и не передается от сердца к сердцу, от души к душе. И сколь богата великая русская литература теми, кто, посвящая себя тяжкому служению слову, не чурался кипевшей вокруг жизни, а страстно сопереживал ей, деля с родным народом его горести и мучения, его взлеты, прозрения и победы.

В ряду этих «страдальцев» русской литературы фигура Короленко занимает особое место. И именно потому, что ему, как носителю лучших традиций русской литературы, получившему после смерти в 1910 году Л.Н. Толстого эстафету «первого морального авторитета» страны, судьба подарила возможность увидеть и пропустить через себя «огонь, воду и медные трубы» жизненных испытаний. «...Чтобы пи-

сать, страдать надо», – сказал как-то Ф.М. Достоевский молодому Д.С. Мережковскому. И эта истина нашла проявление в жизни многих мастеров русской литературы. «Страдальцем» в таком понимании был, конечно, и Короленко. Сам писатель в своих воспоминаниях об одной из встреч с Л.Н. Толстым привел следующий знаменательный эпизод: «Счастливым вы человек, Владимир Галактионович, – говорил Толстой на ходу и, заметя мой удивленный и вопросительный взгляд, пояснил: – Вот вы были в Сибири, в тюрьмах, в ссылке. Сколько я ни прошу у Бога, чтобы дал и мне пострадать за мои убеждения, – нет, не дает этого счастья» (*Короленко В.Г. Собр. соч. в 10 т. М., 1955. Т. 8. С. 132*).

Оснований для подобных слов у Толстого действительно было достаточно. В своем кратком «жизнеописании» в 1892 году Короленко скупыми словами запечатлел моменты своих более чем шестилетних тюремных и ссыльных скитаний: «...В 1876 году... я исключен с третьего курса (Петровской академии. – *С.Д.*) „за подачу директору коллективного заявления студентов“. Я был выслан, одновременно с двумя товарищами, из Москвы: сначала – в Вологодскую губернию, откуда, с дороги, был возвращен в Кронштадт, где в то время жила и моя семья, – под надзор полиции. Год спустя мы все переселились в Петербург, где я с братьями опять занялся корректурой. К 1879 году относятся первые мои литературные попытки, и в том же году последовал арест всех мужчин

моей семьи. Мы, без объяснения причин, были разосланы в разные места. Я попал сначала в Глазов Вятской губернии, затем в глухие дебри глазовского уезда, откуда... высылался в Сибирь; возвращен из Курска в Пермь, оттуда, в 1881 году, выслан в Якутскую область (за отказ от присяги Александру III. – С.Д.)... Вернувшись же из Якутской области в 1885 году, я окончательно отдался литературе...» (Там же. Т. 10. С. 168–169.) И хотя писатель отошел тогда от революционной деятельности, он тем не менее долгие годы находился под негласным полицейским надзором.

А начиналась «страдальческая эпопея» писателя 25 марта 1876 года, когда 22-летний студент Петровской земледельческой академии в Москве Владимир Короленко в сопровождении двух жандармов был доставлен с вокзала в Ярославское полицейское управление. Окна управления выходили на Волгу, и молодому человеку открылась завораживающая картина начавшегося на реке ледохода. По течению, сталкиваясь и наезжая друг на друга, медленно плыли то мелкие льдины, то огромные ледяные острова. Казалось, что залатанная белыми заплатами река меняет теперь свою одежду.

Смотря на Волгу, Владимир впервые услышал, что он «государственный преступник».

– Вы ошибаетесь, – сказал он престарелому помощнику полицмейстера. – Я только студент и ссылаюсь в Вологодскую губернию за подачу коллективного протеста против порядков в академии.



– Вот это самое и есть, батюшка. «По высочайшему повелению!» Как же не государственный?

Ждать окончания ледохода было нельзя, и молодому ссыльному пришлось вместе с провожатыми полицейскими и почтальонами переправляться через Волгу на почтовой лодке, оборудованной полозьями. Лодка то плыла через ледяное «крошево», то скользила на полозьях по льдинам. Один раз Владимир едва успел вскочить в нее, когда лед внезапно треснул и под ногами уже забулькала вода...

В следующий раз, в 1879 году, ожившая весенняя река открылась Короленко во всей своей красе, охватив сердце особым ощущением волжского романтизма. Для него Волга – «это был Некрасов, исторические предания о движениях русского народа, это были Степан Разин и Пугачев, это была волжская вольница и бурлаки Репина...». Разыгрывалась фантазия, так и казалось, что на этих берегах еще таятся «разгульные молодцы». И этому нашлось вскоре подтверждение.

Пароходу, на котором направлялись в вятскую ссылку в сопровождении жандармов братья Владимир и Илларион Короленко, повстречалась барка. На ее носу стоял молодой бурлак в распахнутой ситцевой рубашке, босой, весь загорелый, мускулистый и с гордым равнодушием смотрел куда-то вдаль. Его могучий облик говорил многое. Рука не удержалась, и Владимир записал в своей первой в жизни, испещренной рисунками записной книжке: «...Не совсем еще пе-

ревелась на Волге-матушке удалая, гордая, хотя и голая воля».

Во время первых своих встреч с Волгой в душе писателя ожило, а потом все более крепло нежное и возвышенное отношение к этой русской реке. «Волга, Волга! Есть что-то особенное, какое-то ей только свойственное ощущение, неопределенное и, однако, необыкновенно сильное, неясное и, однако, замечательно цельное, которое охватывает душу только на ее просторе, – писал он. – Вся печаль и все обаяние родной земли, вся ее скорбная история и ее смутные надежды нигде не овладевают сердцем так пылко и властно, нигде с такой щемящей настойчивостью не просят образа и выражения, как на Волге, особенно в тихий, сумрачный, немного мглистый вечер, с догорающим закатом и с надвигающейся из-за дальних вершин холодной, темной, быть может, грозовой тучей».

Прошло время. Заканчивался 1884 год. За плечами Владимира Короленко лежали почти девятилетние скитания по тюрьмам, ссылкам и этапам, впереди мерцало туманное будущее. Сани-розвальни, скрипя полозьями, темной ночью везли по заснеженному волжскому льду перевалившего уже 30-летний рубеж молодого человека, возвращавшегося из Якутии. На душе у него было пустынно и грустно, ехал он в незнакомое место, не имея еще никакой профессии, хотя испробовал их немало. Единственная надежда, согревавшая сердце, заключалась в нескольких исписанных тетрадках, ле-

жавших в небольшом портфеле.

Вдали различимы стали огни большого города. Они приближались и вот замерцали уже над обрезом каменной набережной. Набережная расступилась, и большой фонарь, качаясь на ветру, осветил выведенные на стене метровыми буквами слова: «Чаль за кольца, решетку береги, стены не касайся». Под неотвязное звучание этих слов и въехал Владимир в Нижний Новгород.

Холодный, чужой город встретил путника неприветливо. «Город каменный, люди железные», – проносилось у него в голове. «Не уехать ли отсюда? Куда?...» Он взглянул и долго смотрел на Волгу. «Нет, надо во всяком случае погодить... Пройдет несколько месяцев, река вскрыется, вдоль берега станут пристани, заснут пароходы... Жизнь развернется шире, ярче, разнообразнее... И тогда...»

Кто мог знать в ту зиму, что, зачалив свою утлую лодочку в Нижнем Новгороде, Короленко сделает это так крепко и основательно, что впоследствии будет считать себя «почти нижегородцем», а 1885–1895, годы его жизни в Нижнем, войдут в летопись волжского города как «эпоха», «время Короленко».

Нижегородский период был плодотворнейшим в жизни и деятельности писателя. За эти годы родились и были опубликованы художественные произведения, составившие ему прочную и широкую известность: «Слепой музыкант», «Море», «В пустынных местах», «Ночью», «На Волге», «Па-

радокс», «Без языка», «Тени», «Ат-Даван», «Река играет» и другие, вышли в свет первая и вторая книги его «Очерков и рассказов». И именно в Нижнем Новгороде начала проявляться, пожалуй, самая отличительная черта писателя Короленко – тесное, неразрывное сплетение художественного творчества с постоянными публицистическими выступлениями, всегда составлявшими вторую, равную по значимости сторону его деятельности. Рабочий кабинет Короленко имел свойство, как в легенде о колоколе, которую очень любил писатель, собирать в себя «все звуки, голоса и крики, жалобы и стоны, песни и тихий плач ребенка...» Стекавшиеся со всех сторон эти звуки и голоса, вызывая гневный протест против условий, обрекающих людей на страдания и невежество, заставляли вмешиваться в жизнь, чтобы «открыть форточку в затхлых помещениях», рассеять удушливый туман всего, мешающего народу жить и трудиться. В истории русской литературы вообще трудно найти крупного писателя, который бы так страстно и живо откликался на злобу дня. «Это была у меня вторая натура, и иначе я не мог» (*Короленко С.В.* Десять лет в провинции. Ижевск, 1966. С. 49), – признавался Короленко.

Напомним, что Короленко родился 15 (27) июля 1853 года в Житомире, городе на северо-западе Украины, учился там, потом жил тоже на Украине в Ровно, в 1871 году уехал на учебу в Петербург и почти 30 лет, до 1900 г., когда он поселился с семьей в Полтаве, был фактически оторван от Укра-

ины. Поэтому-то он и сформировался в итоге как именно русский писатель, и этого Короленко никогда не скрывал. 26 января 1917 года он оставил такую важную запись в дневнике, объяснив свое писательское кредо: «Из письма священнику Симоновичу на его простодушный вопрос, почему я не пишу об укр[аинском] народе: „Вы... будете с удовольствием описывать Керженец, чалдонов, японцев, корейцев, – кого угодно, только не малороссов...“»

«Вы спрашиваете, почему я мало писал из жизни Украины? Моя жизнь сложилась так, что в тот период, когда определяются литерат[урные] склонности и накаплиются самые глубокие и сознательные впечатления, – я находился далеко от Украины: в сев[еро]-вост[очной] России и далекой Сибири. С тем народом я жил, там проехал и прошел тысячи верст по русским и сибирским трактам и бесконечным рекам, с теми людьми работал в полях и лесах. Понятно, что Украина осталась для меня в виде воспоминаний детства и прошлого, почему и в моих произведениях отразилась лишь такими рассказами, как „Лес шумит“ или „Судный день“, а Россия и жизнь ее народа вошли в воображение как настоящее, как часть моей собственной жизни» (*Короленко В. Дневник. Письма. 1917–1921. Сост. В.И. Лосев. М.: Советский писатель, 2001. С. 9*).

Короленко, который в период арестов, тюрем и ссылок с 1876 по 1884 год (не считая жизни до этого в Петербурге, Москве) жил в Усть-Сысольске, Кронштадте, Глазове,

Вышневолоцке, Томске, Перми, Иркутске, Якутии, а потом в Нижнем Новгороде, был и считал себя русским писателем, но, защищая, прежде всего, общерусские интересы, он никогда не забывал о важности сохранения и развития национальностей.

Настоящая книга является собранием художественных произведений Короленко, написанных им на основе его личных впечатлений в годы ссыльных скитаний, главным образом во время его сибирской ссылки. Появившись в печати вскоре после его возвращения из Якутии, они принесли известность их автору. Напомним вкратце основные вехи «хождения по мукам» Короленко, начиная с того самого 1876 года, когда студент третьего курса Петровско-Разумовской сельскохозяйственной Академии в Москве Владимир Короленко выступил автором коллективного заявления-протеста, поданного директору Академии. Он же с двумя наиболее близкими своими товарищами, Григорьевым и Вернером, явились депутатами к директору. За это все они были арестованы и высланы в разные места. Короленко выпал Усть-Сысольск, но по дороге туда ему было вдруг объявлено изменение приговора, и он получил разрешение избрать местом ссылки Кронштадт, где тогда жили его мать и сестры. Отбыв там срок ссылки, Владимир с семьей поселился осенью 1877 года в Петербурге и поступил в Горный институт, став при этом корректором в газете «Новости». Он уже начинал писать рассказы, но нараставшее революционное дви-

жение влекло его в другую сторону. И вот в марте 1879 года он и его брат Илларион без объяснения причин были высла- ны в город Глазов Вятской губернии под надзор полиции.

В дороге Короленко начал постоянно вести записи в своей записной книжке, зарисовывая в том числе многое из уви- денного. Новые впечатления захватили Владимира, рождая в нем постепенно писателя. В Глазове в октябре 1879 года по доносу местного исправника Короленко был вновь аресто- ван и выслан в глухие Березовские починки той же Вятской губернии, где он поселился в курной избе и занялся сапож- ным ремеслом. Суровую жизнь в этом краю писатель описал позже, в 1881 году, в очерках «В Березовских починках». В конце января 1880 года опять по ложному доносу исправни- ка о попытке бегства Короленко был снова арестован и на- правлен в Восточную Сибирь через Вятку, Тверь, Москву и Вышневолоцкую пересыльную тюрьму, где он провел пять месяцев в ожидании отправки. И именно в это время Коро- ленко написал яркий рассказ «Чудная», первый появивший- ся в результате его ссыльных впечатлений.

После отправки из Вышневолоцкой тюрьмы в июле 1880 года и долгого-долгого пути Короленко прибыл в Томск, где ему было объявлено, что его сибирская ссылка отменяется и заменяется водворением его на жительство в Пермь под над- зором полиции. В этом городе Короленко прожил до августа 1881 года, работая в управлении Уральской железной доро- ги. В том же году в журнале «Слово» был напечатан рассказ

Короленко «Временные обитатели подследственного отделения» о его впечатлениях от Тобольской тюрьмы. А в марте того же года, за письменный отказ от принесения присяги взошедшему на престол Александру III Короленко был приговорен к ссылке в Якутскую область и в августе был туда отправлен. Через Томск, тюрьму которого Короленко описал в очерке под названием «Содержающая», и Красноярск Короленко добрался до Иркутска, где ему было суждено провести в тюрьме более месяца. А потом началась самая трудная часть пути до Якутска, продлившаяся 18 дней. В возке с двумя жандармами пришлось проехать около трех тысяч верст, в том числе по замерзшей Лене. Как писал Короленко, «неопытный ямщик сбился с дороги между станциями Веледуйском и Крестами, и мы чуть не всю ночь брели пешком среди хаоса льдин, нагроможденных в самом фантастическом беспорядке. Порой это были целые ледяные башни, которые река накидала друг на друга во время бурного осеннего ледохода». Красота диких мест, встречи с местными жителями, дорожные перипетии захватили воображение писателя и запомнились ему на всю жизнь.

От Якутска Короленко пришлось проехать еще около трехсот верст и лишь 1 декабря 1881 года он прибыл на место своего трехлетнего поселения в слободу Амгу. Это были очень сложные годы, годы одиночества и отчаяния, годы надежд и желания побега, годы духовных исканий и творчества. «В Амге я прожил три года, – писал Короленко в „Ис-



тории моего современника“. – Не скажу, чтобы это был самый счастливый период моей жизни. Самый счастливый наступил по возвращении из ссылки, когда вся моя семья опять соединилась, когда я женился на любимой женщине и вошел в литературу. Но что это был самый здоровый период жизни, когда мы с товарищами занимались земледельческим трудом, – это верно».

Короленко жил в Амге сначала в якутской юрте с льдинами вместо стекол, а затем в избе, пристроенной к юрте хозяина, крестьянина Захара Цыкунова. И его записные книжки стали наполняться текстами и набросками новых произведений. Именно в Амге Короленко написал свои известные рассказы «Сон Макара» и «Убивец» и сделал первые записи к рассказам «Соколинец» и «Марусина заимка». В сентябре 1884 года срок ссылки Короленко истек, и он выехал из Амги в Якутск для возвращения в Европейскую часть России, снова получив неизгладимые впечатления. «Сибирь – это настоящее складочное место российской драмы, – написал Короленко в своей записной книжке, – и я положительно советовал бы нашим молодым драматургам проехаться по этому скорбному тракту... Приезжайте на любую почтовую станцию и обратитесь к первой встречной особе, выделяющейся российским обличем среди якутов и обьякученного (русского) крестьянства. Это, наверное, „поселенец“. Вступите с ним в беседу. – Давно ли здесь, откуда, пожалуй (в деликатной форме) за что?...»

Сибирские и якутские впечатления Короленко еще долго питали живительными соками творчество писателя. Замечательные рассказы «Мороз», «Последний луч», «Феодалы» были написаны автором уже в девятисотые годы в Полтаве. Там же были завершены и частично набросанные в Сибири рассказы «Марусина заимка» и «Государевы ямщики».

В настоящем издании объединены все рассказы сибирского цикла писателя. Здесь читатель встретит и наиболее известные произведения Короленко, много раз переиздававшиеся, и более редкие, почти забытые и неизвестные. Все произведения расположены в книге в хронологическом порядке их написания (с 1880 по 1904 год). В комментариях к публикуемым произведениям, написанным дочерьми В.Г. Короленко Н.В. Короленко и С.В. Короленко при подготовке положенного в основу настоящей книги издания (*Короленко В.Г. Сибирские очерки и рассказы. М.: ОГИЗ, 1946. Т. 1. С. 530–541; Т. 2. С. 457–467*), даются краткие справки, освещающие историю возникновения тех или иных очерков и рассказов, сообщаются сведения о времени их написания, сохранившихся в архиве рукописях и т. д.

Остается надеяться, что возвращение сегодня в круг читательского внимания сибирской прозы замечательного писателя Владимира Короленко будет с интересом встречено всеми, кто неравнодушен к настоящим образцам великой русской литературы. И это даст повод всем нам еще раз вспомнить о судьбе человека, заслужившего самую высокую из

всех возможных оценок: «...Лучшее его произведение – он сам, его жизнь, его существо» (Жизнь и творчество В.Г. Короленко. Сб. статей и речей к 65-летнему юбилею. Пг., 1918. С. 13).

*Сергей Дмитриев, кандидат исторических наук*

# Чудная

## (Очерк из 80-х годов)

### I

– Скоро ли станция, ямщик?

– Не скоро еще, – до метели вряд ли доехать, – вишь закуржавело как, сивера идет.

Да, видно, до метели не доехать. К вечеру становится все холоднее. Слышно, как снег под полозьями поскрипывает, зимний ветер, – сивера, – гудит в темном бору, ветви елей протягиваются к узкой лесной дороге и угрюмо качаются в опускающемся сумраке раннего вечера.

Холодно и неудобно. Кибитка узка, под бока давит, да еще не кстати пашки и револьверы провожатых болтаются. Колокольчик выводит какую-то длинную, однообразную песню, в тон запевающей метели.

К счастью, – вот и одинокий огонек станции на опушке гудящего бора.

Мои провожатые, два жандарма, бряцая целым арсеналом вооружения, стряхивают снег в жарко натопленной, темной, закопченной избе. Бедно и неприветно. Хозяйка укрепляет в светильне дымящую лучину.

– Нет ли чего поесть у тебя, хозяйка?

– Ничего нет-то у нас...

– А рыбы? Река тут у вас недалече.

– Была рыба, да выдра всю позббала.

– Ну, картошки...

– И-и, батюшки! Померзла картошка-то у нас ноне, вся померзла.

Делать нечего, – самовар, к удивлению, нашелся. Погрелись чаем, хлеба и луковиц принесла хозяйка в лукошке. А вьюга на дворе разыгрывалась, мелким снегом в окна сыпало, и по временам даже свет лучины вздрагивал и колебался.

– Нельзя вам ехать-то будет, – ночуйте! – говорит старуха.

– Что ж, – ночуем. Вам ведь, господин, торопиться-то некуда тоже. Видите, – тут сторона-то какая!.. Ну, а там еще хуже, – верьте слову, говорит один из провожатых.

В избе все смолкло. Даже хозяйка сложила свою прясницу с пряжей и улеглась, перестав светить лучину. Водворился мрак и молчание, нарушаемое только порывистыми ударами налетавшего ветра.

Я не спал. В голове, под шум бури, поднимались и летели одна за другой тяжелые мысли.

– Не спится, видно, господин, – произносит тот же провожатый, – «старшой» – человек довольно симпатичный, с приятным, даже как будто интеллигентным лицом, расторопный, знающий свое дело и поэтому не педант. В пути он не прибегал к ненужным стеснениям и формальностям.

– Да, не спится.

Некоторое время проходит в молчании, но я слышу, что и мой сосед не спит, – чуется, что и ему не до сна, что и в его голове бродят какие-то мысли. Другой провожатый, молодой «подручный», спит сном здорового, но крепко утомленного человека. Временами он что-то невнятно бормочет.

– Удивляюсь я вам, – слышится опять ровный, грудной голос унтера, – народ молодой, люди благородные, образованные, можно сказать, – а как свою жизнь проводите...

– Как?

– Эх, господин! Неужто мы не можем понимать!.. Довольно понимаем, не в эдакой, может, жизни были и не к этому с измалетства-то привыкли...

– Ну, это вы пустое говорите... Было время и отвыкнуть...

– Неужто весело вам? – произносит он тоном сомнения.

– А вам весело?...

Молчание. Гаврилов (будем так звать моего собеседника), по-видимому, о чем-то думает:

– Нет, господин, невесело нам. Верьте слову: иной раз бывает, – просто, кажется, на свет не глядел бы... – С чего уж это, – не знаю; только иной раз так подступит, – нож острый, да и только.

– Служба, что ли, тяжелая?

– Служба службой... Конечно, не гулянье, да и начальство, надо сказать, строгое, а только все же не с этого...

– Так отчего же?

– Кто знает?...

Опять молчание.

– Служба что. Сам себя ве́ди аккуратнó, только и всего. Мне тем более домой скоро. Из сдаточных<sup>1</sup> я, так срок выходит. Начальник и то говорит: «Оставайся, Гаврилов, что тебе делать в деревне? На счету ты хороше́м...»

– Останетесь?

– Нет. Оно, правда, и дома-то... От крестьянской работы отвык... Пища тоже. Ну и, само собой, обхождение... – Грубость эта...

– Так в чем же дело?

Он подумал и потом сказал:

– Вот я вам, господин, ежели не поскучаете, случай один расскажу... Со мной был...

– Расскажите...

## II

Поступил я на службу в 1874 году, в эскадрон, прямо из сдаточных. Служил хорошо, можно сказать, – с полным усердием, все больше по нарядам: в парад куда, к театру, – сами знаете. Грамоте хорошо был обучен, ну, и начальство не оставляло. Майор у нас земляк мне был и, как видя мое старание, призывает раз меня к себе и говорит: «Я тебя,

---

<sup>1</sup> Сдаточный – рядовой. (Ред.)

Гаврилов, в унтер-офицеры представляю... Ты в командировках бывал ли?» – «Никак нет, говорю, ваше высокоблагородие». – «Ну, говорит, в следующий раз назначу тебя в подручные, – присмотришься, – дело не хитрое». – «Слушаю, говорю, ваше высокоблагородие, рад стараться».

А в командировках я точно что не бывал ни разу, – вот с вашим братом, значит. Оно, хоть, скажем, дело-то нехитрое, а все же, знаете, инструкции надо усвоить, да и расторопность нужна. Ну, хорошо...

Через неделю этак места, зовет меня дневальный к начальнику, и унтер-офицера одного вызывает. Пришли. – «Вам, говорит, в командировку ехать. Вот тебе, – говорит унтер-офицеру, – подручный. Он еще не бывал. Смотрите, не зевать, справьтесь, говорит, ребята, молодцами, – барышню вам везти из замка, политичку, Морозову. Вот вам инструкция, завтра деньги получай и с богом!..»

Иванов, унтер-офицер, в старших со мною ехал, а я в подручных, – вот как у меня теперь другой-то жандарм. Старшему сумка казенная дается, деньги он на руки получает, бумаги; он расписывается, счета эти ведет, ну, а рядовой в помощь ему: послать куда, за вещами присмотреть, то, другое.

– Ну, хорошо. Утром, чуть свет еще, – от начальника вышли, – гляжу: Иванов мой уж выпить где-то успел. А человек был, – надо прямо говорить, – не подходящий, – разжалован теперь... На глазах у начальства, как следует быть унтер-офицеру и даже так, что на других кляузы наводил, вы-



служивался. А чуть с глаз долой, сейчас и завертится и первым делом – выпить!

Пришли мы в замок, как следует, бумагу подали, – ждем, стоим. Любопытно мне, – какую барышню везти-то придется, а везти назначено нам по маршруту далеко. По самой этой дороге ехали, только в город уездный она назначена была, не в волость. Вот, мне и любопытно в первый-то раз: что, мол, за политична такая?

Только прождали мы этак с час места, пока ее вещи собирали, – а и вещей-то с ней узелок маленький, – юбчонка там, ну, то, другое, – сами знаете. Книжки тоже были, а больше ничего с ней не было; небогатых, видно, родителей, думаю. Только выводят ее – смотрю, молодая еще, как есть ребенком мне показалась. Волосы русые в одну косу собраны, на щеках румянец. Ну, потом увидел я – бледная совсем, белая во всю дорогу была. И сразу мне ее жалко стало... Конечно, думаю... Начальство, извините... зря не накажет... Значит, сделала какое-нибудь качество по этой, по политической части... Ну а все-таки... жалко, так жалко, – просто, ну!

Стала она одеваться: пальто, калоши... Вещи нам ее показали, – правило значит: по инструкции мы вещи смотреть обязаны. – «Деньги, спрашиваем, с вами какие будут?» Рубль двадцать копеек денег оказалось, – старший к себе взял. – «Вас, барышня – говорит ей, – я обыскать должен».

Как она тут вспыхнет. Глаза загорелись, румянец еще гуще выступил. Губы тонкие, сердитые. Как посмотрела на

нас, – верите: оробел я и подступиться не смею. Ну а старшой, известно, выпивши: лезет к ней прямо. «Я, говорит, обязан; у меня, говорит, инструкция!...»

Как тут она крикнет – даже Иванов и тот от нее попятился. Гляжу я на нее, – лицо побледнело, ни кровинки, а глаза потемнели, и злая-презлая... Ногой топает, говорит шибко, – только я, признаться, хорошо и не слушал, что она говорила... Смотритель тоже испугался, воды ей принес в стакане. «Успокойтесь, – просит ее, – пожалуйста, говорит, сами себя пожалейте». Ну она и ему не уважила. – «Варвары вы, говорит, холопы!» И прочие тому подобные дерзкие слова выражает. Как хотите: супротив начальства это ведь нехорошо. Ишь, думаю, змееныш... Дворянское отродье!

Так мы ее и не обыскивали. Увел ее смотритель в другую комнату, да с надзирательницей тотчас же и вышли они. «Ничего, говорит, при них нет». А она на него глядит и точно вот смеется в лицо ему, и глаза злые всё. А Иванов, – известно, море по колена, – смотрит да все свое бормочет: «Не по закону, – у меня, говорит, инструкция!...» Только смотритель внимания не взял. Конечно, как он пьяный. Пьяному какая вера!

Поехали. По городу проезжали – все она в окна кареты глядит, точно прощается, либо знакомых увидеть хочет. А Иванов взял, да занавески опустил, – окна и закрыл. Забилась она в угол, прижалась и не глядит на нас. А я, признаться, не утерпел-таки: взял за край одну занавеску, будто сам

поглядеть хочу, – и открыл так, чтобы ей видно было... Только она и не посмотрела, – в уголку сердитая сидит, губы закусил... В кровь, так я себе думал, искушает.

Поехали по железной дороге. Погода ясная этот день стояла, – осенью дело это было, в сентябре месяце. Солнце-то светит, да ветер свежий, осенний, а она в вагоне окно откроет, сама высунется на ветер, так и сидит. По инструкции-то оно не полагается, знаете, окна открывать, да Иванов мой, как в вагон ввалился, так и захрапел; а я не смею ей сказать. Потом осмелился, подошел к ней и говорю: «Барышня, говорю, закройте окно. – Молчит, будто не ей и говорят. Постоял я тут, постоял, а потом опять говорю: – Простудитесь, барышня, – холодно ведь».

Обернулась она ко мне и уставилась глазищами, точно удивилась чему... Поглядела, да и говорит:

– Оставьте! – И опять в окно высунулась. Махнул я рукой, отошел в сторону.

Стала она спокойнее будто. Закроет окно, в пальтишко закутается вся, греется. Ветер, говорю, свежий был, студено! А потом опять к окну сядет, и опять на ветер вся, – после тюрьмы-то, видно, не наглядится. Повеселела даже, глядит себе, улыбается. И так на нее в те поры хорошо смотреть было!... Верите совести...

Рассказчик замолчал и задумался. Потом продолжал, как будто слегка конфузясь:

– Конечно, не с привычки это... Потом много возил, при-

вык. А тот раз чудно мне показалось: куда, думаю, мы ее ведем, дитё этакое... И потом... признаться вам, господин, уж вы не осудите: что, думаю, ежели бы у начальства попросить, да в жены ее взять... Ведь уж я бы из нее дурь-то эту выкурил. Человек я, тем более, служащий... Конечно, молодой разум... глупый... Теперь могу понимать... Попу тогда на духу рассказал, он говорит: вот от этой самой мысли порча у тебя и пошла. Потому что она, верно, и в Бога-то не верит...

От Костромы на тройке ехать пришлось, – Иванов у меня пьян-пьянешенок: проспится и опять заливает. Вышел из вагона, шатается. Ну, думаю, плохо, как бы денег казенных не растерял. Ввалился в почтовую телегу, лег и разом захрапел. Села она рядом, – неловко. Посмотрела на него, ну, точно вот на гадину на какую. Подобралась так, чтобы не тронуть его как-нибудь, – вся в уголку и прижалась, а я-то уж на облучке уселся. Как поехали, – ветер сиверный, – я и то продрог. Закашляла крепко и платок к губам поднесла, а на платке, гляжу, кровь. Так меня будто кто в сердце кольнул булавкой.

– Эх, говорю, барышня – как можно! Больны вы, а в такую дорогу поехали, – осень, холодно!.. Нетто, говорю, можно этак!

Вскинула она на меня глазами, посмотрела, и точно опять внутри у нее закипать стало.

– Что вы, говорит, глупы, что ли? – не понимаете, что я не по своей воле еду. Хорош, говорит: сам везет, да туда же

еще с жалостью суется!

— Вы бы, говорю, начальству заявили, — в больницу хоть слегли бы, чем в этакой холод ехать. Дорога-то ведь не близкая!

— А куда? — спрашивает.

А нам, знаете, строго запрещено объяснять преступникам, куда их везти приказано. Видит она, что я позамялся, и отвернулась.

— Не надо, говорит, это я так... Не говорите ничего, да уж и сами не лезьте.

Не утерпел я.

— Вот, говорю, куда вам ехать. Не близко! — Сжала она губы, брови сдвинула, да ничего и не сказала. Покачал я головой... — Вот, то-то, говорю, барышня. Молоды вы, не знаете еще, что это значит!

Крепко мне досадно было... Рассердился... А она опять посмотрела на меня и говорит:

— Напрасно, говорит, вы так думаете. Знаю я хорошо, что это значит, а в больницу все-таки не слегла. Спасибо! Лучше уж коли помирать, так на воле, у своих. А то, может, еще и поправлюсь, так опять же на воле, а не в больнице вашей тюремной. Вы думаете, говорит, от ветру я, что ли, заболела, от простуды? Как бы не так!..

— Там у вас, спрашиваю, сродственники, что ли, находятся? — Эго я потому, как она мне выразила, что у своих поправляться хочет.

– Нет, говорит, у меня там ни родни, ни знакомых. Город-то мне чужой, да, верно, такие же, как и я, ссыльные есть, товарищи.

Подивился я, – как это она чужих людей своими называет, – неужто, думаю, кто ее без денег там поить-кормить станет, да еще незнакомую?... Только не стал ее спрашивать, потому вижу я: брови она поднимает, недовольна, зачем я спрашиваю.

Ладно, думаю... Пушай! Нужды еще не видала. Хлебнет горя, узнает небось, что значит чужая сторона...

К вечеру тучи надвинулись, ветер подул холодный, – а там и дождь пошел. Грязь и прежде была не высохши, а тут до того развезло, – просто кисель, не дорога! Спину-то мне как есть грязью всю забрызгало, да и ей порядочно попадать стало. Одним словом сказать, что погода, на ее несчастье, пошла самая скверная: дождиком прямо в лицо сечет – оно хоть, положим, кибитка-то крытая, и рогожей я ее закрыл, да куда тут! Течет всюду, продрогла, гляжу: вся дрожит и глаза закрыла. По лицу капли дождевые потекли, а щеки бледные, и не двинется, точно в бесчувствии. Испугался я даже. Вижу: дело-то выходит неподходящее, плохое... Иванов пьян – храпит себе, горюшка мало... Что тут делать, тем более я в первый раз.

В Ярославль город самым вечером приехали. Растолкал я Иванова, на станцию вышли, – велел я самовар согреть. А из городу из этого пароходы ходят, только по инструкции

нам на пароходах возить строго воспрещается. Оно хоть нашему брату выгоднее, – экономию загнать можно, да боязно. На пристани, знаете, полицейские стоят, а то и наш же брат, жандарм местный, кляuzu подвести завсегда может. Вот барышня-то и говорит нам: «Я, говорит, далее на почтовых не поеду. Как знаете, говорит, пароходом везите». А Иванов еле глаза продрал с похмелья, – сердитый. «Вам об этом, говорит, рассуждать не полагается. Куда повезут, туда и поедете!» Ничего она ему не сказала, а мне говорит: «Слышали, говорит, что я сказала: не еду».

Отозвал я тут Иванова в сторону. «Надо, говорю, на пароходе везти. Вам же лучше: экономия останется». Он на это пошел, только трусит. «Здесь, говорит, полковник, так как бы чего не вышло. Ступай, говорит, спросись, – мне, говорит, нездоровится что-то». А полковник неподалеку жил. «Пойдем, говорю, вместе и барышню с собой возьмем». Боялся я: Иванов-то, думаю, спать завалится спьяну, так как бы чего не вышло. Чего доброго – уйдет она или над собой что сделает, – в ответ попадешь. Ну, пошли мы к полковнику. Вышел он к нам. «Что надо?» – спрашивает. Вот она ему и объясняет, да тоже и с ним не ладно заговорила. Ей бы попросить смирененько: так и так, мол, сделайте божескую милость, – а она тут по-своему. «По какому праву», – говорит, ну и прочее; все, знаете, дерзкие слова выражает, которые вы, вопче, политики, любите. Ну, сами понимаете, начальству это не нравится. Начальство любит покорность. Однако

выслушал он ее и ничего, – вежливо отвечает: «Не могу-с, говорит, ничего я тут не могу. По закону-с... нельзя!» Гляжу барышня-то «Закон!» – говорит, и засмеялась по-своему, сердито да громко. – «Так точно, – полковник ей, – закон-с!»

Признаться, я тут позабылся немного, да и говорю: «Точно что, вашескородие, закон, да они, ваше высокородие, больны». Посмотрел он на меня строго. «Как твоя фамилия? – спрашивает. – А вам, барышня, говорит, если больны вы, – в больницу тюремную не угодно ли-с?» Отвернулась она и пошла вон, слова не сказала. Мы за ней. Не захотела в больницу, да и то надо сказать: уж если на месте не осталась, а тут без денег да на чужой стороне, точно что не приходится.

Ну, делать нечего. Иванов на меня же накинута: «Что, мол, теперь будет; непременно из-за тебя, дурака, оба в ответе будем». Велел лошадей запрягать и ночь переждать не согласился, так к ночи и выезжать пришлось. Подошли мы к ней: «Пожалуйте, говорим, барышня, – лошади поданы». А она на диван прилегла – только согреться стала. Вспрыгнула на ноги, встала перед нами, – выпрямилась вся, – прямо на нас смотрит в упор, даже, скажу вам, жутко на нее глядеть стало. «Проклятые вы», – говорит, – и опять по-своему заговорила, непонятно. Ровно бы и по-русски, а ничего понять невозможно. Только сердито да жалко: «Ну, говорит, теперь ваша воля, вы меня замучить можете, – что хотите делайте. Еду!» А самовар-то все на столе стоит, она еще и не пила. Мы с Ивановым свой чай заварили, и ей я налил. Хлеб с на-



ми белый был, я тоже ей отрезал. «Выкушайте, говорю, на дорогу-то. Ничего, хоть согреетесь немного». Она калоши надевала, бросила надевать, повернулась ко мне, смотрела, смотрела, потом плечами повела и говорит:

– Что это за человек такой! Совсем вы, кажется, сумасшедший. Стану я, говорит, ваш чай пить! – Вот до чего мне тогда обидно стало: и посейчас вспомню, кровь в лицо бросается. Вот вы не брезгаете же с нами хлеб-соль есть. Рубанова господина везли, штаб-офицерский сын, а тоже не брезгал. А она побрезгала. Велела потом на другом столе себе самовар особо согреть и уж известно: за чай за сахар вдвое заплатила. А всего-то и денег – рубль-двадцать!

### III

Рассказчик смолк, и на некоторое время в избе водворилась тишина, нарушаемая только ровным дыханием младшего жандарма и шипением метели за окном.

– Вы не спите? – спросил у меня Гаврилов.

– Нет, продолжайте, пожалуйста, – я слушаю.

– ...Много я от нее, – продолжал рассказчик, помолчав, – много муки тогда принял. Дорогой-то, знаете, ночью, все дождик, погода злая... Лесом поедешь, лес стоном стонет. Ее-то мне и не видно, потому ночь темная, ненастная, зги не видать, а поверите, – так она у меня перед глазами стоит, то есть даже до того, что вот, точно днем, ее вижу: и глаза ее, и

лицо сердитое, и как она иззябла вся, а сама все глядит куда-то, точно все мысли свои про себя в голове ворочает. Как со станции поехали, стал я ее тулупом одевать. «Наденьте, говорю, тулуп-то, – все, знаете, теплее». Кинула тулуп с себя. «Ваш, говорит, тулуп, – вы и надевайте». Тулуп, точно, что мой был, да догадался я и говорю ей: «Не мой, говорю, тулуп, казенный, по закону арестованным полагается». Ну, оделась...

Только и тулуп не помог: как рассвело, – глянул я на нее, а на ней лица нет. Со станции опять поехали, приказала она Иванову на облучок сесть. Поворчал он, да не посмел слушаться, тем более, – хмель-то у него прошел немного. Я с ней рядом сел.

Трое сутки мы ехали и нигде не ночевали. Первое дело: по инструкции сказано – не останавливаться на ночлег, а «в случае сильной усталости» – не иначе как в городах, где есть караулы. Ну а тут, сами знаете, какие города!

Приехали-таки на место. Точно гора у меня с плеч долой, как город мы завидели. И надо вам сказать: в конце она почитай что на руках у меня и ехала. Вижу – лежит в повозке без чувств; тряхнет на ухабе телегу, так она головой о переплет и ударится. Поднял я ее на руку на правую, так и вез; все легче. Сначала оттолкнула было меня, – «прочь! – говорит, – не прикасайтесь!». А потом ничего. Может, оттого, что в беспамятстве была... Глаза-то закрыты, веки совсем потемнели, и лицо лучше стало, не такое сердитое. И даже

так было, что засмеется сквозь сон и просветлеет, прижимается ко мне, к теплому-то. Верно ей, бедной, хорошее во сне грезилось. Как к городу подъезжать стали, очнулась, поднялась... Погода-то прошла, солнце выглянуло, – повеселела...

...Только из губернии ее далее отправили, в городе губернском не оставили, и нам же ее дальше везти привелось, – тамошние жандармы в разъездах были. Как уезжать нам, – гляжу, в полицию народу набирается: барышни молодые, да господа студенты, видно, из ссыльных... И все, точно знакомые, с ней говорят, за руку здороваются, расспрашивают. Денег ей сколько-то принесли, платок пуховый на дорогу, хороший... Проводили...

Ехала веселая, только кашляла часто. А на нас и не смотрела.

Приехали в уездный город, где ей жительство назначено; сдали ее под расписку. Сейчас она фамилию какую-то называет. «Здесь, говорит, такой-то?» – Здесь, отвечает. Исправник приехал. – «Где, говорит, жить станете?» – «Не знаю, говорит, а пока к Рязанцеву пойду». Покачал он головой, а она собралась и ушла. С нами и не попрощалась...

## IV

Рассказчик смолк и прислушался, не сплю ли я.

– Так вы ее больше и не видели?

– Видал, да лучше бы уж и не видеть было...

...И скоро даже я опять ее увидел. Как приехали мы из командировки, – сейчас нас опять нарядили и опять в ту же сторону. Студента одного возили, Загряжского. Веселый такой, песни хорошо пел и выпить был не дурак. Его еще дальше послали. Вот поехали мы через город тот самый, где ее оставили, и стало мне любопытно про жизнь ее узнать. «Тут, спрашиваю, барышня-то наша?» – «Тут, говорят, только чудная она какая-то: как приехала, так прямо к ссыльному пошла, и никто ее после не видал, – у него и живет. Кто говорит: больна она, а то бают вроде она у него за любовницу живет. Известно, народ болтает...» А мне вспомнилось, что она говорила: «Помереть мне у своих хочется». И так мне любопытно стало... и не то что любопытно, а попросту сказать, потянуло. Схожу, думаю, повидаяю ее. От меня она зла не видала, а я на ней зла не помню. Сам схожу...

Пошел – добрые люди дорогу показали; а жила она в конце города. Домик маленький, дверца низенькая. Вошел я к ссыльному-то к этому, гляжу: чисто у него, комната светлая, в углу кровать стоит, и занавеской угол отгорожен. Книг много, на столе, на полках... А рядом мастерская махонькая, там на скамейке другая постель положена.

Как вошел я, – она на постели сидела, шалью обернута и ноги под себя подобрала, – шьет что-то. А ссыльный Рязанцев господин по фамилии... рядом на скамейке сидит, в книжке ей что-то вычитывает. В очках, человек, видно, серьезный. Шьет она, а сама слушает. Стукнул я дверью, она

как увидела, приподнялась, за руку его схватила, да так и замерла. Глаза большие, темные, да страшные... ну, все, как и прежде бывало, только еще бледнее с лица мне показалась. За руку его крепко стиснула, — он испугался, к ней кинулся. «Что, говорит, с вами? успокойтесь!» А сам меня не видит. Потом отпустила она руку его, — с постели встать хочет. «Прощайте, говорит ему: — видно, им для меня и смерти хорошей жалко». Тут и он обернулся, увидел меня, — как вскочит на ноги. Думал я, — кинется... убьет, пожалуй. Человек, тем более, рослый, здоровый...

Они, знаете, подумали так, что опять это за нею приехали... Только видит он, — стою я и сам ни жив ни мертв, да и один. Повернулся к ней, взял за руку. «Успокойтесь, говорит. А, вам, спрашивает, кавалер, — что здесь, собственно, понадобилось?... Зачем пожаловали?»

Я объяснил, что, мол, ничего мне не нужно, а так пришел, сам по себе. Как вез, мол, барышню, и были они нездоровы, так узнать пришел... Ну, он обмяк. А она все такая же сердитая, кипит вся. И за что бы, кажется? Иванов, конечно, человек необходимый. Так я же за нее заступался...

Разобрал он, в чем дело, засмеялся к ней. «Ну вот видите, говорит, — я же вам говорил». — Я так понял, что уж у них был разговор обо мне... Про дорогу она, видно, рассказывала.

— Извините, говорю, ежели напугал вас... Не во время или что... Так я и уйду... Прощайте, мол, не поминайте лихом, добром, видно, не помянете.

Встал он, в лицо мне посмотрел и руку подает.

– Вот что, говорит, поедете назад, свободно будет, – заходите, пожалуй. – А она смотрит на нас да усмехается по-своему, нехорошо.

– Не понимаю я, говорит, зачем ему заходить? И для чего зовете?

А он ей:

– Ничего, ничего! Пусть зайдет, если сам опять захочет... заходите, заходите, ничего!

Не все я, признаться, понял, что они тут еще говорили. Вы ведь, господа, мудрено иной раз промеж себя разговариваете... А любопытно. Ежели бы так остаться, послушать... ну, мне неловко, – как бы чего не подумали. Ушел.

Ну, только свезли мы господина Загрязского на место, едем назад. Призывает исправник старшего и говорит: «Вам тут оставаться вперед до распоряжения; телеграмму получил. Бумаг вам ждать по почте». Ну, мы, конечно, остались.

Вот я опять к ним: – дай, думаю, зайду, хоть у хозяев про нее спрошу. Зашел. Говорит хозяин домовый: «Плохо, говорит, как бы не померла. Боюсь, в ответ не попасть бы, – потому собственно, что попа звать не станут». Только стоим мы, разговариваем, а в это самое время Рязанцев вышел. Увидел меня, поздоровался, да и говорит: «Опять пришел? Что ж, войди, пожалуй». Я и вошел тихонько, а он за мной вошел. Поглядела она, да и спрашивает: «Опять этот странный человек!.. Вы, что ли, его позвали?» – «Нет, говорит, не звал

я, – сам он пришел». Я не утерпел и говорю ей:

– Что это, говорю, барышня, – за что вы сердце против меня имеете? Или я враг вам какой?

– Враг и есть говорит, – а вы разве не знаете? Конечно, враг! – Голос у нее слабый стал, тихий, на щеках румянец так и горит, и столь лицо у нее приятное... – Кажется, не наглагоделся бы. Эх, думаю, – не жилища она на свете, – стал прощения просить, – как бы, думаю, без прощения не померла. «Простите меня, говорю, – коли вам зло какое сделал». Известно, как по-нашему, по-христиански, полагается... А она опять, гляжу, закипает... – «Простить! вот еще! Никогда не прощу, и не думайте, никогда! Помру скоро... так и знайте: не простила!»

Рассказчик опять смолк и задумался. Потом продолжал тише и сосредоточеннее:

– Опять у них промежду себя разговор пошел. Вы вот человек образованный, по-ихнему понимать должны, так я вам скажу, какие слова я упомянул. Слова-то запали и посейчас помню, а смыслу не знаю. Он говорит:

– Видите: не жандарм к вам пришел сейчас... Жандарм вас вез, другого повезет, так это он все по инструкции. А сюда-то его разве инструкция привела? Вы вот что, говорит, господин кавалер, не знаю, как звать вас...

– Степан, – говорю.

– А по батюшке как?

– Петровичем звали.

– Так вот, мол, Степан Петрович. Вы ведь сюда почему пришли? По человечеству? Правда?

– Конечно, говорю, по человечеству. Это, говорю, вы верно объясняете. Ежели по инструкции, так это нам вовсе даже не полагается, чтоб к вам заходить без надобности. Начальство узнает – не похвалит.

– Ну, вот видите, – он ей говорит и за руку ее взял. Она руку выдернула.

– Ничего, говорит, не вижу. Это вы видите, чего и нет. А мы с ним вот (это значит со мной) люди простые. Враги так враги, и нечего тут антимонии разводить. Ихнее дело – смотри, наше дело – не зевай. Он, вот видите: стоит, слушает. Жалко, не понимает, а то бы в донесении все написал...

Повернулся он в мою сторону, смотрит прямо на меня, в очки. Глаза у него острые, а добрые. «Слышите? – мне говорит. – Что же вы скажете?... Впрочем, не объясняйте ничего: я так считаю, что вам это обидно».

Оно, скажем, конечно... по инструкции так полагается, что ежели что супротив интересу, то обязан я, по присяжной должности, – на отца родного донести... Ну, только как я не затем, значит, пришел, то верно, что обидно мне показалось, просто за сердце взяло. Повернулся к дверям, да Рязанцев удержал.

– погоди, говорит, Степан Петрович, – не уходи еще. – А ей говорит: – Не хорошо это... Ну, не прощайте и не миритесь. Об этом что говорить. Он и сам, может, не простил бы,



ежели бы как следует все понял... Да ведь и враг тоже человек бывает... А вы этого-то вот и не признаете. Сек-тан-тка вы, говорит, вот что!

– Пусть, – она ему, – а вы равнодушный человек. Вам бы, говорит, только книжки читать...

Как она ему это слово сказала, – он, чудное дело, даже на ноги вскочил. Точно ударила его. Она, вижу, испугалась даже.

– Равнодушный? – он говорит. – Ну, вы сами знаете, что неправду сказали.

– Пожалуй, – она ему отвечает... – А вы мне – правду?...

– А я, говорит, правду: – настоящая вы боярыня Морозова...

Задумалась она, руку ему протянула; он руку-то взял, а она в лицо ему посмотрела-посмотрела, да и говорит: «Да, вы, пожалуй, и правы!» А я стою, как дурак, смотрю, а у самого так и сосет что-то у сердца, так и подступает. Потом обернулась ко мне, посмотрела и на меня без гнева и руку подала. «Вот, говорит, что я вам скажу: враги мы до смерти... Ну, да, бог с вами, руку вам подаю, – желаю вам когда-нибудь человеком стать, – вполне, не по инструкции... Устала я», – говорит ему.

Я и вышел. Рязанцев тоже за мной вышел. Стали мы во дворе, и вижу я: на глазах у него будто слеза поблескивает.

– Вот что, говорит, Степан Петрович. Долго вы еще тут пробудете?

– Не знаю, говорю, может и еще дня три, до почты.

– Ежели, говорит, еще зайти захотите, так ничего, зайдите.

Вы, кажется, говорит, человек, по своему делу, ничего...

– Извините, говорю, напугал...

– То-то, говорит, уж вы лучше хозяйке сначала скажите.

– А что я хочу спросить, – говорю: вы вот про боярыню говорили, про Морозову. Они, значит, боярского роду?

– Боярского, говорит, или не боярского, а уж порода такая: сломать ее, говорит, можно... Вы и то уж сломали... Ну а согнуть, – сам, чай, видел: не гнутся этакие.

На том и попрощались.

## V

...Померла она скоро. Как хоронили ее, я и не видал, – у исправника я был. Только на другой день ссыльного этого встретил; подошел к нему, – гляжу: на нем лица нет...

Росту он был высокого, с лица сурьезный, да ранее приветливо смотрел, а тут зверем на меня, как есть, глянул. Подал было руку, а потом вдруг руку мою бросил и сам отвернулся. «Не могу, говорит, я тебя видеть теперь. Уйди, братец, бога ради, уйди!..» Опустил голову, да и пошел, а я на фатеру пришел и так меня засосало, – просто, пищи дни два не принимал. С этих самых пор тоска и увязалась ко мне. Точно порченный.

На другой день исправник призвал нас и говорит:

«Можете, говорит, теперь отправляться: пришла бумага, да поздно». Видно, опять нам ее везти пришлось бы, да уж Бог ее пожалел: Сам убрал.

...Только, – что еще со мной после случилось, – не конец ведь еще. Назад едучи, приехали мы на станцию одну...

Входим в комнату, а там на столе самовар стоит, закуска всякая, и старушка какая-то сидит, хозяйку чаем угощает. Чистенькая старушка, маленькая, да веселая такая и говорливая. Все хозяйке про свои дела рассказывает. «Вот, говорит, собрала я пожитки, дом-то, по наследству который достался, продала и поехала к моей голубке. То-то обрадуется! Уж и побранит, рассердится, знаю, что рассердится, – а все же рада будет. Писала мне, не велела приезжать. Чтобы даже ни в каком случае не смела я к ней ехать. Ну, да ничего это!»

Так тут меня ровно кто под левый бок толкнул. Вышел я в кухню. «Что за старушка?» – спрашиваю у девки-прислуги. «А это, говорит, самой той барышни, что вы тот раз везли, – матушка родная будет». Тут меня шатнуло даже. Видит девка, как я в лице расстроился, спрашивает: «Что, говорит, служивый, с тобой?»

– Тише, говорю, что орешь... барышня-то померла.

Тут она, девка эта, – и девка-то, надо сказать, гулящая была, с проезжающими баловала, – как всплеснет руками, да как заплачет, и из избы вон. Взял и я шапку, да и сам вышел, – слышал только, как старуха в зале с хозяйкой все болтают, и так мне этой старухи страшно стало, так страшно, что

и выразить невозможно. Побрел я прямо по дороге, — после уж Иванов меня догнал с телегой, я и сел.

## VI

...Вот какое дело!.. А исправник донес, видно, начальству, что я к ссыльным ходил, да и полковник костромской тоже донес, как я за нее заступался, — одно к одному и подошло. Не хотел меня начальник и в унтер-офицеры представлять. «Какой ты, говорит, унтер-офицер, — баба ты! В карцер бы тебя, дурака!» Только я в это время в равнодушии находился и даже нисколько не жалел ничего!

И все я эту барышню сердитую забыть не мог, да и теперь то же самое: так и стоит, бывает, перед глазами.

Что бы это значило? Кто бы мне объяснил! Да вы, господин, не спите?

Я не спал... Глубокий мрак закинутой в лесу избушки томил мою душу, и скорбный образ умершей девушки вставал в темноте под глухие рыдания бури...

*1880 г.*

# Яшка

Жестокие, сударь, нравы...

*Островский*

## I

...Нас ввели в коридор одной из сибирских тюрем, длинный, узкий и мрачный. Одна стена его почти сплошь была занята высокими окнами, выходившими на небольшой квадратный дворик, где обыкновенно гуляли арестанты. Теперь, по случаю нашего прибытия, арестантов «загнали» в камеры. Вдоль другой стены виднелись на небольшом расстоянии друг от друга двери «одиночек». Двери были черны от времени и частых прикосновений и резко выделялись темными четырехугольниками на серой, грязной стене. Над дверями висели дощечки с надписями: «За кражу», «За убийство», «За грабеж», «За бродяжничество», а в середине каждой двери виднелось квадратное отверстие со стеклышком, закрываемое снаружи деревянной заслонкой. Все заслонки были отодвинуты, и из-за стекол на нас смотрели любопытные, внимательные глаза заключенных.

Мы повернули раз и другой. Над первой дверью третьего коридора я прочел надпись: «Умалишенный», над следу-

ющею – то же. Над третьей надписи не было, а над четвертой я разобрал те же слова. Впрочем, не надо было и надписи, чтобы угадать, кто обитатель этой каморки, – из-за ее двери неслись какие-то дикие, тоскующие, за сердце хватающие звуки. Человек ходил, по-видимому, взад и вперед за своею дверью, выкрикивая что-то, похожее то на еврейскую молитву, то на горький плач с причитаниями, то на дикую плясовую песню. Когда он смолкал, а в коридоре наступала тишина, тогда можно было различить монотонное чтение какой-то молитвы, произносимой в первой камере однозвучным голосом. Дальше видны были еще такие же двери, и из-за них слышалось мерное звяканье цепей. Надпись гласила: «За убийство».

Это был «коридор подследственного отделения», куда нас поместили за отсутствием помещения для пересыльных. По той же причине, то есть за отсутствием особого помещения, в этом коридоре содержались трое умалишенных. Наша камера, без надписи, находилась между камерами двух умалишенных, только справа от одной из них отделялась лестницей, над которой висела доска: «Вход в малый верх».

Пока надзиратели подбирали ключи, чтобы открыть нашу камеру, сосед наш по правую сторону – третий умалишенный – не подавал никаких признаков своего существования. Сколько можно было видеть в дверное оконце, в его камере было темно, как в могиле.

– Яшка-то молчит ноне, – тихо сказал «старший надзира-

тель» младшему.

– Не видит... Ну его! – ответил тот так же тихо.

Вдруг из-за стеклышка сверкнула пара глаз, мелькнул конец носа, большие усы, часть бороды. Вслед за тем дверь застонала и заколебалась. Яшка стучал ногою в нижнюю часть двери так сильно, что железные болты гнулись и визжали. Каждый удар гулко отдавался под высоким потолком и повторялся эхом в других коридорах. Надзиратели вздрогнули. «Старший» – седой, низенький старичок из евреев, с наружностью старой тюремной крысы, с маленькими, злыми, точно колющими глазами, сверкавшими из-под нависших бровей, – весь съежился, попятился к стенке и бросил в сторону стучавшего взгляд, полный глубокой ненависти и злобы.

– Полно, Яшка, что задурил-то? – отозвался коридорный надзиратель, серьезный старик, с длинными опущенными вниз усами, в большой папaxe. – Чего не видал? Видишь, арестантов привели!

Тот, кого называли Яшкой, окинул нас внимательным взглядом. И, как бы убедившись, несмотря на наши «вольные» костюмы, что действительно мы арестанты, прекратил стук и что-то заворчал за своею дверью. Слов мы не могли расслышать, – «одиночка» уже приняла нас в свои холодные, сырые объятия. Запоры щелкнули за нами, шаги надзирателя стихли в другом конце коридора, а жизнь «подследственного отделения» вошла опять в свою обычную колею.

Пять шагов в длину, три с половиной в ширину – вот раз-

меры нового нашего жилища. Стекла в небольшом, в квадратный аршин, окне разбиты, и в него видна на расстоянии двух сажен серая тюремная стена. Углы камеры тонули в каком-то неопределенном полумраке. Карнизы оттенены траурною каймой многолетней пыли, стены серы, и, при внимательном взгляде, видны на них особые пятна – следы борьбы какого-нибудь страдальца с клопами и тараканами, – борьбы, быть может, многолетней, упорной. Я не мог освободиться от ощущения особого рода неприятного запаха, который, как мне казалось, несся от этих стен. Внизу, у самого пола, в кирпич было вделано толстое железное кольцо, назначение которого для нас было ясно: к нему была некогда приделана короткая цепь... Две кровати, стул и маленький столик составляли роскошь «одиночки», которую ей, быть может, привелось видеть впервые. В остальных камерах, таких же, как наша, не было ничего, кроме тюфяка, брошенного на пол, и живого существа, которое на нем валялось...

За стеной слышалось дребезжание телеги. Мимо окна проехал четырехугольный ящик, который везла плохая, заморенная клячонка. Два арестанта вяло плелись сзади, шлепая «кеньгами»<sup>2</sup> по грязи. Они остановились невдалеке, открыли люк и так же вяло принялись, за работу... Отвратительною вонью пахнуло в наши разбитые окна, и она стала наполнять камеру...

Мой товарищ, улегшийся было на своей постели, встал на

---

<sup>2</sup> Кеньги – обувь валеная, меховая или кожаная без голенищ. (Ред.)



ноги и тоскливо оглядел комнату.

– Од-на-ко! – сказал он протяжно.

– Д-да! – подтвердил я.

Больше говорить не хотелось, да и не было надобности, – мы понимали друг друга. На нас глядели и говорили за нас темные стены, углы, затканые паутиной, крепко запертая дверь... В окно врывались волны миазмов, и некуда было скрыться. Сколько-то нам придется прожить здесь: неделю, две?... Нехорошо, скверно! А ведь вот тут, рядом, наши соседи живут, не одну неделю и не две. Да и в этой камере после нас опять водворится жилец на долгие месяцы, а может, и годы...

А арестантики продолжали свою работу, – это была их ежедневная обязанность. Ежедневно приезжали они сюда со своим неблаговонным ящиком и вяло черпали час, другой, уезжая и приезжая, – все мимо целого ряда плохо прилаженных, часто разбитых окон.

Мы заткнули разбитое окно казенной подушкой. Запах несколько уменьшился, или мы притерпелись, но только тоскливое чувство, внушенное нашею беспомощностью, тишиной, бездеятельностью одиночки, из острого стало переходить в тупое, хроническое... Мы стали прислушиваться к тихому жужжанию внешней жизни, прорывавшемуся сквозь крепкие двери.

Внешняя жизнь для нас была жизнь двора и коридора тюрьмы. В дверное оконце, когда его забывали закрыть

наружную заслонкой, виднелись гуляющие арестанты. Они «толкались» по квадратному дворику парами, тихо и без шума. Казалось, серые халаты налагали какое-то обязательство тихой солидности.

В известные часы по двору проносилась команда: «Пошел за кипятком!», «Пошел за хлебом!», «Обедать пошел!» «По-шо-ол, расходись по камерам!». Выпускали на время подследственных из строгого одиночного заключения или каторжников в цепях. Последние еще солиднее прохаживались по коридору: цепи уже несомненно налагали это обязательство. Под вечер где-то на третьем дворе раздавался звонок: приближалась «поверка». Ежедневно в семь часов смотритель или его помощник обходил с караульным офицером и конвоем солдат все камеры, считая заключенных.

Так проходил день в «подследственном отделении».

...Раз, два, три, четыре!.. гулко раздавался по временам сильный стук. Это Яшка тревожил чуткую тишину коридора. Среди этой тишины, на фоне бесшумной, подавленной жизни, его удары, резкие, бешено-отчетливые, непокорные, составляли какой-то странный, режущий, неприятный контраст. Я вспомнил, как маленький «старший» съежился, заслышав эти удары. Нарушение обычного безмолвия этой скорбной обители, казавшееся даже мне, постороннему, диссонансом, должно было особенно резать ухо «начальства».

Не знаю, зачем, собственно, понадобилось мне считать эти удары. Раз, два, три... около шести стук усиливался;

семь, восемь, девять... стоял сплошной гул, затем на одиннадцати, редко на двенадцати, звук резко обрывался. В это мгновение у меня являлось в правой ноге мимолетное ощущение ноющей боли. Мне казалось, что Яшка прекращал свой стук именно от такой боли в ноге. Через несколько секунд раздавалось еще пять-шесть ударов, и затем в коридоре наступала напряженная тишь, или же угрюмое ворчание Якова смешивалось со скорбными выкрикиваниями еврея.

Чаще других приходилось дежурить в нашем коридоре старику надзирателю, давно, по-видимому, свыкшемуся с тюрьмой и ее обитателями. Казалось, старик обрел на этом месте то особого рода душевное равновесие, которое так облегчает жизнь и сношения с людьми во всякой профессии. Он имел вид человека, обладающего обстоятельным мирозерцанием, был философски спокоен и неизменно равнодушен, никогда не возвышал голоса, не бранил арестантов, не стеснял их без нужды. Он был надзиратель, – это было его общественное положение, налагавшее на него известные обязанности. Другие были арестанты, – это опять их общественное положение, также сопряженное с обязанностями. Каждый должен исполнять свои обязанности, что значит: «веди себя с толком, поступай благородно, то есть не попадай на замечание начальства». Таковы были основы его философии, и он сумел провести их в жизнь подведомого ему «отделения». Главное нравственное правило: «не попадай на замечание» – проникало во все детали этой жизни. Сам ста-

рик Михеич двигался и действовал, не торопясь, как хорошо рассчитанная машина. Я никогда не видел, чтоб он препирался с арестантом из одиночки, когда тот просился «до ветру», как это делали другие надзиратели. Он просто шел на стук и отпирал двери. Зато, если Михеич отказывал в каком-нибудь облегчении, значит, у него была резонная причина, имеющая отношение к близости начальственного ока, и отказ был всегда решительный, безапелляционный. Когда, бывало, старый Михеич сидел на окне коридора и дремал, причем из-под его папахи, вечно нахлобученной на самые брови, виднелись концы длинных усов и ястребиного носа, тихо и благосклонно «клевавшего» в спокойной дремоте, в коридоре подследственных воцарялась непринужденность и даже некоторая развязность, конечно, в возможных для этого места пределах. Арестанты франтовато ходили с папиросами в зубах мимо философа-начальника с очевидным знанием невозможности явиться в «эдаком виде» в другие часы дня. Это делало особенно драгоценной эту привилегию в данное время. Они уже сами смотрели в оба, чтобы не попасться в «эдаком виде» кому-нибудь из высшего тюремного начальства и не подвести старого Михеича, так как хорошо понимали, что в подобном ротозействе не заключается ни «толку», ни «благородства». Даже умалишенные чувствовали импонирующее влияние Михеичевой философии. Когда рулады сумасшедшего еврея, одержимого какою-то музыкальной манией, достигали чрезмерной напряженности и

экспрессии, когда, казалось, его глотка скоро откажется производить какие бы то ни было звуки, а уши слушателей рисковали потерять всякую способность воспринимать их, Михеич спокойно слезал с окна, подходил к двери еврея и, стукнув связкой ключей, произносил ровным, спокойным голосом:

– Эй, ты, свиное ухо! По какой причине раскричался?

Вопрос звучал деловито, как будто вопрошавший допускал возможность существования какой-либо «причины», и даже название «свиное ухо» казалось просто необходимым собственным именем. Еврей смягчал экспрессию, понижал тон и издавал рулады, выражавшие очевидную готовность к компромиссу.

– Нарукавники желаешь? – спрашивал Михеич также спокойно, и опять в вопросе слышалась возможность со стороны еврея такого неестественного желания.

– Покричи еще, – что ж, я и принесу нарукавники тебе... Это, брат, можно во всяко время... – соглашался Михеич, и рулады еврея спускались до обычного диапазона.

– Стекло-то опять зачем сожрал, а? Разве полагается тебе казенные стекла жрать? Видишь вот, вчера вставили, а ты опять слопал, свиное ухо! – говорил Михеич, выковыривая остатки дверного стекла, которое еврей действительно имел обыкновение разбивать и грызть зубами.

Урезонив еврея, Михеич снова направлялся к излюбленному месту на окне, где спина его скоро прилипала к натер-

тому жирному пятну косяка, а нос и усы принимали обычное положение. Еврей продолжал свои рулады, возвратившись к нотам, более свойственным человеческому голосу, или начинал что-то таинственно выстукивать в стену, как бы сообщая кому-то смысл сейчас слышанных слов.

Другой умалишенный, остяк Тимошка, помещавшийся в первой камере у входа в коридор подследственных, пользовался некоторым благорасположением Михеича. Однажды, когда я проходил по коридору, Михеич с видимым удовольствием указал на камеру Тимошки.

– Тимошка тут, Тимофей, остяк... Набожный... Всякую молитву знает. Поди, и теперь молится...

Я заглянул в оконце. Длинная узкая камера была еще мрачнее нашей, так как угловая стена примыкавшего здания закрывала в нее доступ свету. Вначале я не мог никого разглядеть среди этих темных стен, но вскоре увидел в углу, под самым окном, какую-то коленопреклоненную фигуру. Тимошка мерно покачивался, стоя на коленях перед какими-то болванчиками, неопределенно черневшими в углу. На окне лежало что-то вроде шапки. Мебели, как и в других одиночках, не было, только рядом с болванчиками стояла «парашка». Остяк молился ровным, своеобразно-диким голосом, тоном опытного чтеца. По временам он произносил целые длинные фразы на каком-то непонятном, вероятно остяцком языке, а иногда, несколько не изменяя молитвенной интонации, произносил скверные ругательства, как

будто и они составляли часть его культа.

– Трех человек задушил руками, – отрекомендовал мне его Михеич. – Из себя невидный, а сила в ём ба-а-аль-шая!

– А что в углу у него расставлено? – спросил я.

– Идолы это... бога... Ка-ак же! Сам делает. Сколько раз отымали, сейчас опять смастерит.

– Чем же?

– На выдумки ловок, беда! Нож из жести оконной у него, об камень выточен. А шапку видели... на окне у него лежит? Тоже сам сшил. Окно-то у него разбито, черт ему кошку шальную и занеси. Он ее сцапал, содрал шкуру зубами, – вот и шапка! Иголka тоже у него имеется, нитки из тюфяка дергает... Ну, зато набожен: молитвы лучше иного попа знает. Бога у него свои, а молитвы наши... Молится, да! И послушен тоже... Тимошка, спой песенку!

Тимошка прервал молитву, взял в руки палку и повернулся к Михеичу.

– С барабаном? – спросил он.

В его диком голосе звучала какая-то юмористическая нотка. Переход от молитвы к скоморошеству был для него, по-видимому, нетруден.

– Неуж без барабана, чужак! – ответил Михеич.

Тимошка запел бесконечную песню, постукивая в такт палкой. В этой песне, с довольно быстрым темпом, слышалось что-то своеобразное, заунывно-дикое. Мы старались потом с товарищем воспроизвести этот нехитрый мотив, но

он не давался нашей памяти.

– Без конца у него песня эта, – заметил Михеич. – Теперь все будет петь, пока не скажу: довольно! Раз этак я забыл остановить его, – он и поет себе. Проверка пришла, смотритель и спрашивает: ты что делаешь? «Песню, говорит, Михеич приказал петь». Право, послушный он!.. А трёх человек задавил руками. Ноги ему в сумасшедшем доме отшибли, – ходить не может. Зачинает мало-мало подыматься, да плохо. Видно, отстукали ловко!

– Неужто в больнице у вас ноги отшибают? Ведь это...

– Да уж это не так, чтобы превосходно, что и говорить. Опять же и зря: послушный он, остяк-то. Ему толком скажи, – он слушает. Только там это у них живо, в сумасшедшем-то доме: чуть что, пожалуй, недолго им, и совсем уступают. Этому стукальщику скоро вот то же будет, – как-то недружелюбно мотнул Михеич головой в сторону Яшкиной двери.

В его голосе исчезли мягкие, благосклонные ноты, с какими он обращался к послушному Тимошке, давившему людей руками и сдиравшему шкуру с живых кошек. Очевидно, в глазах Михеича Яшка был хуже остяка.

Вообще, этот странный субъект находился на каком-то особом, исключительном положении, и он интересовал меня все более и более. В его стуке я, наконец, начал различать некоторую систему. Так, однажды, когда он вдруг загремел очень сильно, я увидел, что Михеич стал беспокойно



озираться, как будто ожидая чьего-нибудь появления. Потом старик деловито обратился к Якову:

– Что ты? Зачем? Никого ведь нету.

Яшка тотчас же смолк. Очевидно, он не просто стучал в пространство, а адресовал эти гремящие звуки чьему-нибудь слуху. Вскоре я убедился, что стуком этим он салютовал всякому начальству, начиная со «старшего надзирателя». Чем выше было начальство, тем, вообще говоря, громче были салюты. Ночью они раздавались значительно тише, точно Яшка стучал спросонок. Проснется он, – так думалось мне, – стукнет раза три-четыре и опять, исполнив эту обязанность, уляжется спать. Однажды только среди ночной тишины удары Яшки раздались точно гром канонады: на следующее утро оказалось, что ночью «на малом верху кержаки<sup>3</sup> произвели не малую драку», – стало быть, являлось высшее тюремное начальство.

Удары эти доставались Яшке не дешево. «Ноги вовсе у него попухли, – говорил мне Михеич, – а все ведь неймется».

На третий день нашего заключения мы потребовали у начальства, чтобы нас отпускали гулять, и нас приказано было отпускать «после поверки», когда остальные заключенные запираются в камеры на ночь. Это-то время я решил употребить для приобретения ближайшего знакомства с Яшкой...

---

<sup>3</sup> Кержаки – раскольники, жившие по реке Керженцу. (Ред.)

## II

Звонок. «Становись на поверку!»

В подследственном отделении все стихло. Где-то далеко, в третьем или четвертом коридоре, лязгнула дверь, послышались раскаты, точно рокот далекого наводнения. «Поверка» толпой ввалилась в наше отделение. Яшка принялся за свое дело.

Когда «поверка» обошла наши камеры и поднялась на «малый верх», Михеич отворил нашу дверь. Коридорный арестант подследственного отделения, Меркурий, исполняющий обязанности «парашечника», убирающий камеры и бегающий на посылах у «привилегированных» арестантов, явился в нашу камеру с самоваром. Пока «поверка» не ушла совсем, Михеич просил нас для «порядку» не выходить в коридор.

Вот «поверка» сходит по лестнице. Наша дверь не затворена, и нам ясно слышны не только удары Яшки, но и его возгласы:

– Беззаконники! – кричал Яшка, когда «поверка» проходила мимо его двери. – Пошто держите, пошто морите меня? Сказывайте, слуги антихристовы!

Я вспомнил надпись над Яшкиной дверью. Неужто, мелькнуло у меня в уме, – это недоразумение? Неужто этот человек, запертый, наглухо заколоченный в эту ужасную ды-

ру, в этот гроб, вовсе не умалишенный и способен сознавать весь ужас своего положения?...

– За что это Яшку держат в одиночке, да еще так строго? – спросил я Меркурия.

– Человека убил, каторжник беглый, – вмешался Михеич тоном убежденного человека.

– Не-ет, – протянул Меркурий, – что ты, Михеич! Что попустому говорить! Неизвестно это, – обратился он ко мне. – Звания своего, фамилии, например, он не открывает. Сказывают так, что за непризнание властей был сослан; убёг ли, што ли, этого доподлинно не могу знать...

– Над его дверью написано, что он сумасшедший?

– Приставляется, – сказал Михеич, по-своему, кратко и утвердительно.

– Не-ет... опять же и это... кто знает! Может, и не сумасшедший, – сказал опять Меркурий как-то уклончиво. – Собственно, держат его в одиночке за непризнание властей, за грубость. Полицместер ли, кто ли придет, хоть тут сам губернатор приходи, – он и ему грубость скажет. Все свое: «беззаконники, да слуги антихристовы!» Вот через это самое... А то раньше свободно он ходил по всей даже тюрьме без препятствий...

– А зачем он стучит?

– И опять же, как сказать... Собственно для облегчения!..

Меркурий ушел. Мы заварили чай и вышли «на прогулку» в коридор. Вдали, где-то в третьем коридоре, слышались

еще шаги удалявшейся «поверки». У Яшкина оконца виднелись усы, часть бороды, конец носа, Яшка стоял неподвижно и будто чего-то ждал.

Вдруг дверь опять заколебалась от неистовых ударов.

– Зачем ты это, Яков, стучишь? Кто тебя слышит? Ведь никого нет! – сказал я.

– Звона! – отвечал Яшка серьезно, мотнув головой по направлению к окну коридора, через которое виднелся противоположный фасад расположенного четырехугольником здания и в нем сквозной просвет высокой двери, ведущей на другой двор.

В этом просвете маячила в сумерках фигура последнего солдата «поверки». Фигура вскоре исчезла. Яшка счел возможным прекратить стук и обратился ко мне.

Он нагнулся, чтобы окинуть меня внимательным взглядом из своего оконца. Мне все не удавалось увидеть его лицо в целом. Теперь на меня глядели серые выразительные глаза, слегка лишь подернутые какою-то мутью, как у сильно утомленного человека. Лоб был высокий и по временам собирался в резкие – не то гневные, не то скорбные – складки. По-видимому, Яшка был высок ростом и очень крепко сложен. Лет, вероятно, было ему около пятидесяти.

– Што будешь за человек? – спросил он. – Куда тебя гонят?

Я назвал себя и сообщил, куда меня гонят.

– А тебя как зовут? – спросил я.

– Был Яков... Яковым звали.

– А величают как? Родом откуда?

Яков взглянул на меня с каким-то подозрительным вниманием и, помолчав, ответил кратко.

– Забыл<sup>4</sup>.

Понемногу мы разговорились.

Как арестант, содержимый на особых правах, в «вольной одежде» и т. п., я представлял для Яшки явление не совсем обычное. Передо мною же был обыкновенный заключенный, говоривший сдержанно, ровно, вообще, в будничном настроении.

– Беспокойно тебе, – стучу я это. Ничего, привыкнешь, – говорил он, усмехаясь. – Ночью тише же стучу я, не громко. На росписку сюда слуга-то антихристов является, так ему я это постукиваю.

– Скажи мне, Яков, зачем ты стучишь? – спросил я.

Яков вскинул на меня своими большими глазами, и в голосе его, когда он отвечал, послышалась какая-то «обрядная» важность:

– Стою за Бога, за великого государя, за христов закон, за святое крещение, за все отечество и за всех людей.

Я несколько удивился, что, по-видимому, не ускользнуло от внимания Якова.

– Обличаю начальников, – пояснил он, – начальников неправедных обличаю. Стучу.

---

<sup>4</sup> После я узнал, что родом он из Пермской губернии. (Прим. автора.)

– Какая же от этого польза?

– Польза? Есть польза...

– Да какая же? В чем?

Есть польза, – повторил он упрямо. – Ты слушай ухом: стою за Бога, за великого государя... и он целиком повторил свою формулу.

Я понял теперь: Яков не искал реальных, осязательных последствий от своего стучания для того дела, за которое он «стоял» столь неуклонно среди глухих стен и не менее глухих к его обличениям людей; он видел «пользу» уже в самом факте «стояния» за Бога и за великого государя, стало быть, поступал так «для души».

– А за что тебя держат? – спросил я далее.

– За что? – Без-законники! – заговорил Яшка и возбужденно завопил за своею дверью. – За что держат? Скажи вот: безо всякого преступления... Нет моего преступления ни в чем. А и было бы преступление, так разве им судить?... Бог суди!

– Человека ты убил, – сказал Михеич, внимательно слушавший наш разговор. – По-што присталяешься?

– Неправда, неправда, – заговорил Яшка каким-то страдальчески-возбужденным голосом. – Ишь чего выдумали, беззаконники! Неправда, не верь им, Володимер, не верь слугам антихристовым! Нет моего никакого преступления. Отрекись, вишь, от Бога, от великого государя, тогда отпустим. Где же отречься?... Невозможно мне. Сам знаешь: кто

от Бога, от истинного прав-закону отступит, – мертв есть. Плоть-то он живет, а души в нем живой нету...

В это время из темного коридора, под прямым углом при-мыкавшего к нашему, показалась маленькая фигурка в сером пальто с медными пуговицами. Я узнал «старшего». Седая тюремная крыса точно выползала из норы за добычей. Старик крался, прижимаясь вдоль стены, чтобы Яшка не мог его увидеть из своей конурки. В руках у него была тетрадь и карандаш. Каждый вечер он клал эту тетрадь на окно коридора и ночью обязан был несколько раз написать в ней: «был в таком-то часу». В эти-то часы и раздавалось тихое постукивание Яшки.

– Отопри «малый верх», – шепнул Михеичу «старший», быстро шмыгнув мимо Яшкиной двери.

Михеич стал тихо снимать засов с дверей, которые вели на лестницу с надписью: «Вход на малый верх». На этом «верху» находилась особая воровская колония. О ней так и говорили: «Ноньче в воровской драка приключилась». – «Воры-то ночью за картами развозились». Этот «верх» недаром носил название «малого». Дело в том, что тюрьма была рассчитана на число жителей чуть не на половину менее того, какое в ней находилось в действительности. Пришлось поэтому пуститься на хитрости, и вот губернская архитектура кое-как приляпала к высоким камерам новые потолки, значительно их понизившие и послужившие полом для «малого верха». Часть высоких окон, отхваченная этими антресоля-

ми, пришлась, таким образом, в «малом верху» и получила назначение снабжать его светом. Нечего говорить, что назначение это исполнялось далеко не удовлетворительно, и воровской «малый верх» представлял помещение, совершенно невозможное в гигиеническом отношении.

– Тут у вас ничего еще, – говорил мне Меркурий о наших помещениях. – Тут и хорошему, образованному человеку прожить мало-мало можно... А вот, в воровской – не приведи господи! Вонько, темно, сыро... Чистая смерть!..

Чтобы несколько вознаградить за отсутствие воздуха и света, начальство тюрьмы дало ворами некоторые льготы. Они, например, не запирались по камерам и ночью, так как даже при сибирских взглядах на правила гигиены оказалось невозможным ставить у воров на ночь зловонные «парашки». Таким образом, начав задышаться в одной камере, жилец воровского, «малого верха» мог для разнообразия отправиться задышаться в другую. Как бы то ни было, «малый верх» вознаградил за некоторые неудобства жилища широким развитием общности. По ночам оттуда слышался шумный говор, по временам неслись отчаянные крики. Тогда призывалось начальство, иногда даже военный конвой, и расшумевшиеся «воры» накрывались за картежом или пьянством, подобно разодравшимся воробьям, которых берут руками мальчишки.

Итак, Михеич стал тихо снимать засовы, и «старший», расписавшись в тетради, опять было прошмыгнул мимо Яшки-



ной двери, направляясь на лестницу. «За водкой... – шепнул мне Михеич. – Воры в карты дуются, водку пьют... накроет».

Но в этот критический момент, когда старый тюремный хищник стал подыматься на лестницу, Яшка, каким-то чутьем угадавший присутствие одного из «беззаконников», внезапно загремел своею дверью. Старик вздрогнул, точно ошпаренный. Я ясно представил себе, как болезненно задело его напряженные нервы это неожиданное громовое вмешательство. Он подпрыгнул на месте, точно его захлопнуло западней, заёрзал, попытался было броситься на верх, но, сообразив, что дело потеряно и воры успели все припрятать, возвратился назад.

– Запри! – изнеможенно обратился он к Михеичу. – О Яшка, Яшка! – прошипел он, обращаясь к дверям: – кажется, ежели мог бы, вот как бы тебя растер, проклятого, вот как!..

Он сжал свои кулачонки и стал их тереть друг о друга, как бы воображая, что Яшка находится между ними и испытывает процесс растирания.

Яшка появился у своей двери, очевидно, довольный, что удар, направленный во имя Господне чисто наудачу, попал в цель так метко.

– Не любо тебе, беззаконник? – гремел он вдогонку. – Долго ли держать меня будете, слуги антихристовы?...

– Пос-с-той, пог-год-ди! – шипел «беззаконник», пораженный в наиболее место, и бросал при этом на нас косвенные взгляды, как будто между нашим присутствием

и необходимостью для Яшки «погодить» была некоторая необъяснимая связь.

Смысл этого «погоди» был совершенно ясен: Яшка был во власти этой старой тюремной крысы, один, без союзников, и, тем не менее, он жестоко измучил того, от кого вполне зависел. А он именно его измучил. Для меня стала очевидною та странная связь, которая установилась между Яшкой, запертым в одиночке, и державшими его «беззаконниками». Казалось бы, заперли Яшку – и делу конец: его можно игнорировать. Но он успел своим неукротимым протестом раздражить их нервы, натянуть их до болезненной восприимчивости к этому стуку, и торжествовал над связавшими его по рукам и по ногам врагами. Победенный физически, он считал себя не сдавшимся победителю, пока еще «Господь поддерживает его» в единственно возможной форме борьбы: «Стучу вот». В этом он видел свою миссию и свое торжество.

– И всегда так-то: стучит без толку... Уж именно, что без пользы, один вред себе получает... – говорил Михеич, запирая ход на лестницу. – Что толку в стуке? Ну, вот, заперли его, в карцере сколь перебивал, нарукавники надевали, – все неймется. Погоди, – обратился Михеич к Яшке. – В сумасшедший дом свезут, там недолго настучишь! Там тебя уступают получше Тимошки.

– Хоть куда отдавай, все едино! Меня не испугаешь, – отвечал Яшка. – Я за Бога, за великого государя стою, – за Бога, слуги антихристовы, стою! Слышишь? Думаете: заперли, так

уж я вам подвержен? – Не-ет! Стучу, вот, слава-те, Господи, Царица Небесная... поддерживает меня Бог-от! Не подвержен я антихристу.

– Нарукавники тебе... связать тебя, стукальщика, да и держать этак... Не стал бы стучать...

Осенние сумерки, выползая из углов старой тюрьмы, все более и более сгущались в коридорах.

– На молитву пора, – сказал мне Яков, – прощай!

Он отошел от двери и, когда я, спустя некоторое время, взглянул в его оконце, он уже «стоял на молитве». Его окно было завешано какими-то тряпками, сквозь которые скудно прорывался полусвет наступающего вечера. Фигура Яшки рисовалась на этом просвете черным пятном. Он творил крестные знамения, причем как-то судорожно, резко подавался туловищем вперед и затем подымался несколько тише. Его точно «дергало».

Мы с товарищем прохаживались по темнеющим коридорам. Подходя к Тимошкиной двери, мы слышали мерное, точно заупокойное чтение. Из двери еврея вместе с дикими, стонущими звуками неслись убийственные миазмы. В соседней с ним камере каторжник, помещенный сюда опять-таки за недостатком места, совершал свою обычную прогулку, гремя кандалами, а на верху гоготали и шумно возились воры. Остальные камеры хранили безмолвие наступающего сна. Двое бродяг, сидевших вместе, варили что-то в печурке. Это, очевидно, были любители «очага». Весь день употреб-

ляли они на розыски щепок и всякой дряни, которую подбিরали на тюремных дворах, на последние деньжонки покупали «крупок» и вечером, когда всех запирали, они разводили в своей печке огонь. В эти минуты я иногда подходил к их двери и тихонько заглядывал в нее, так, чтобы не нарушить их мирного наслаждения. Один, суровый бродяга, лет за сорок, сидел прямо против печки, обхватив колени руками, внимательно следя за огнем и за маленьким горшочком, в котором варилась крупа. Другой приволакивал к печке свой тюфяк и ложился на него лицом к огню, положив подбородок на руки. Это был почти еще мальчик, с бледным, тюремного цвета лицом и большими выразительными глазами. Он, очевидно, мечтал. Огонек потрескивал, вода в горшочке шипела и бурлила, а в камере царило глубокое молчание. Бродяги точно боялись нарушить музыку импровизированного очага тюремной каморки... Затем, когда огонек потухал и крупка была готова, они вынимали горшок и братски делили микроскопическое количество каши, которая, казалось, имела для них скорее некоторое символическое, так сказать – сакраментальное<sup>5</sup> значение, чем значение питательного материала.

В самой крайней камере, служившей как бы продолжением коридора, жильцы беспрестанно сменялись.

Эта камера не отличалась от других ничем, кроме своего назначения, да еще разведем, что в ее дверях не было окон-

---

<sup>5</sup> Сакраментальное – обрядовое, священное. (Ред.)

ца, которое, впрочем, удовлетворительно заменялось широкими щелями. Заглянув в одну из этих щелей, я увидел двух человек, лежавших в двух концах камеры, без тюфяков, прямо на полу. Один был завернут в халат с головою и, казалось, спал. Другой, заложив руки за голову, мрачно смотрел в пространство. Рядом стояла нагоревшая сальная свечка.

– Антипка! – заговорил вдруг последний и, вздрогнув, точно от прорвавшейся тяжелой, мучительной мысли, сел на полу.

Другой не шевелился.

– Антипка, ирод!.. Отдай, слышь... Думаешь, вправду у меня пятьдесят рублей?... Лопни глаза, последние были...

Антипка притворялся спящим.

– У-у, подлая душа! – произносит арестант и изнеможенно опускается на свое жесткое ложе; но вдруг он опять подымается с злобным выражением.

– Слышь, Антипка, не шути, подлец! Убью!.. Ни на што не посмотрю... Сам пропаду, а уж пришью тебя, каиново отродье.

Антипка всхрапывает сладко, протяжно, точно он покоится на мягких пуховиках, а не в карцере рядом с злобным соседом; но мне почему-то кажется, что он делает под своим халатом некоторые необходимые приготовления.

– Коржаки это... разодрались ночесь на малом верху, – поясняет мне Михеич, – вот смотритель в карцер обоих и отправил. Антип это деньги, што ли, у Федора украл. Два

рубля денег, сказывают, стянул.

– Как же это их вместе заперли? Ведь они опять раздерутся?

– Не раздерутся, – ответил Михеич, многозначительно усмехнувшись. – Помнят!.. Наш на это – беда, нетерпелив! «Посадить их, говорит, вместе, а подеретесь там, курицыны дети, уж я вам тогда кузькину мать покажу. Сами знаете...» Знают... Прямо сказать: со свету сживет. В та-акое место упрячет... Это что? – только слава одна, что карцером называется. Вон зимой карцер был, то уже можно сказать. Сутки если в нем который просидит, бывало, так уж прямо, в больницу волокут. День поскрипит, другой, а там и кончается.

Мне привелось увидеть этот карцер, или, вернее, не увидеть, а почувствовать, ощутить его... Мне будет очень трудно описать то, что я увидел, и я попрошу только поверить, что я, во всяком случае, не преувеличиваю.

На квадратном дворике по углам стоят четыре каменные башенки, старые, покрытые мхом, какие-то склизкие, точно оплеванные. Они примыкают вплоть ко внутренним углам четырехугольного здания, и ход в них – с коридоров. Проходя по нашему коридору, я увидел дверь, ведущую, очевидно, в одну из башенок, и наш Меркурий сказал мне, что это ход в бывший карцер. Дверь была не заперта, и мы вошли.

За нами в коридоре было темно, в этом помещении – еще темнее. Откуда-то сверху сквозил слабый луч, расплывавшийся в холодной сырости карцера. Сделав два шага, я на-

ткнулся на какие-то обломки. «Куб здесь был раньше, – пояснил мне Меркурий, – кипяток готовился, сырость от него осталась, – беда! Тем более, печки теперь не имеется...» Что-то холодное, проникающее насквозь, затхлое, склизкое и гадкое составляло атмосферу этой могилы... Зимой она, очевидно, промерзала насквозь... Вот она – «кузькина-то мать!», подумал я.

Когда я, отуманенный, вышел из карцера, тюремная крыса, исполнявшая должность «старшего», опять крадучись, ползла по коридорам отбирать от надзирателей на ночь ключи в контору, и опять Яшка бесстрашно заявлял ей, что он все еще продолжает стоять за Бога и за великого государя...

«О Яшка, – думал я, удаляясь на ночь в свою камеру, – воистину бесстрашен ты человек, если видал уже „кузькину мать“ и не убоился!...»

### III

– Отчего у Яшки в камере так темно и холодно? – спросил я, заметив, что в его камере темно, как в могиле, и из его двери дует, точно со двора.

– Рамы, пакостник, вышибает, – ответил Михеич. – Беспокойный, беда!.. А темно потому, что снаружи окно тряпками завешано, – от холоду. Стекла повышибет, тряпками завесит, все теплее будто!.. Ну, не дурак? «Для Бога, для великого государя». Кому надобность, что у тебя стекол нет...

И Михеич презрительно пожал плечами.

С тем же вопросом я обратился к Яшке.

– Видишь ты, – серьезно ответил он, – беззаконники хладом заморить меня хотят, потому и раму не вставляют.

– Зачем же ты ее вышиб?

– Не вышиб я, нет!.. Зачем вышибать?... Вижу: идут ко мне слуги антихристовы людно. Не с добром идут – с нарукавниками. Сам знаешь: жив человек смерти боится. Я на окно-то от них... за раму-то, знаешь, и прихватился. Стали они тащить, рама и упади... Вот!.. Что поделаешь. Согрешил: нарукавников испужался...

Несколько слов об этих нарукавниках.

Идея нарукавников – идея целесообразная и, если хотите, даже гуманная. Чтобы буйный или бешеный субъект не мог нанести своими руками вред себе или другим, руки эти должны быть лишены свободы действий с возможным притом избежанием членовредительства. Для этой цели надеваются крепкие кожаные рукава, коими руки притягиваются к туловищу. Чтобы удержать их в этом положении, рукава стягиваются двумя крепкими ремнями, которые двумя кольцами охватывают спину и грудь. В чистом виде идея нарукавников имеет только предупредительный характер, и если Михеич грозит ими, как чем-то наказующим и мстящим, то это свидетельствует еще раз печальную истину, что грубая действительность искажает всякие идеи. Надо, впрочем, сознаться, что этому искажению в весьма значительной мере



способствует самое устройство нарукавников, легко допускающее возможность многих «преувеличений». Пряжки, например, стягивающие ремни, могут быть затянуты в меру, не более того, сколько требуется самою идеей притяжения рук к ребрам, но они также могут быть затянуты и с преувеличением, причем пострадают и ребра<sup>6</sup>. Если принять в соображение, что редко – вернее никогда – субъект не обнаруживает стремления надеть их добровольно и что, стало быть, их надевают силой, то станет понятно, почему Яшка приравнивал процесс надевания нарукавников к смерти.

## IV

Среда арестантов относилась к Якову довольно равнодушно. Был, впрочем, один остроумец, приходивший чуть не ежедневно изошрять на заключенном «в темнице» (на этот раз употребляю это выражение в буквальном значении) свое тяжелое скоморошество.

Это был один из тех остроумцев, каких много и не в остроге. Субъект этот наложил, по-видимому, на себя тяжелый искус развлекать публику балагурством, в котором было очень

---

<sup>6</sup> Я не говорю уже о заведомых посягательствах на самое устройство нарукавников. Бывают и такие. Так, например, иногда к ним прибавляют еще ремень, притягивающий шею книзу. Это ничем не оправдываемое прибавление дает в результате уже несомненное членовредительство. Я знал здорового парня, у которого после пятичасового пребывания в нарукавниках с этим добавлением кровь бросилась горлом, и грудь оказалась радикально испорченной. (*Прим. автора.*)

мало юмора, еще меньше веселья и уж вовсе не было смысла. Это было просто какое-то напряженное словоизвержение, поддерживаемое с усилием, достойным более веселого дела, по временам оскудевавшее и вновь напрягаемое, пока, наконец, сам остроумец не впадал от этих усилий в некоторое яростное исступление. Впрочем, – добрая душа у русского человека, – слушатели находили возможным награждать бескорыстное «старание» вялым смехом.

Яшка почему-то считал нужным делать этому скомороху принципиальные возражения, громил слуг антихриста, ссылаясь на авторитет «енерал-губернатора» (который, по его убеждению, стоял за него, хотя почему-то безуспешно), вообще, метал свой бисер, попиравшийся самым бестолковым образом.

– Енерал-губернатор! – грохотал остроумец сиплым голосом настоящего пропойцы, – вишь, чем удивить вздумал!.. Мы и сами в настранничих племянниках состоим... Хо-хо-хо! Не слыхивал еще, так слушай, развесь уши-то пошире. А то с енерал-губернатором выехал. Ха-ха-ха!

Когда Яков замечал, что возражения «настранничьего племянника» являются одним сквернословием, то он плевал и уходил от греха. Но «настранничий племянник», успевший достаточно раскалиться на огне собственного остроумия, начинал бить ногою в Яшкину дверь, мешая Яшке «стоять на молитве». К этому присоединялся обыкновенно пронзительный голос музыкального еврея, сочувственно от-

кликавшегося на всякие сильные звуки, и в результате выходил такой раздирательный концерт, что Михеич просыпался у своего косяка и укрощал разбушевавшегося «настранничьего племянника». Тот удалялся, впрочем, весьма довольный собою. Зрители тоже расходились, зевая и вяло поощряя остроумца: «Молодец, Соколов! За словом в карман не полезет!»

Были, однако, некоторые признаки, указывавшие, что где-то в остроге, среди этих однообразных серых халатов, в грязных камерах, у Яшки были если не союзники, то люди, понимавшие подвиг неуклонного стучания и сочувствовавшие его «обличениям». Однажды, проходя по коридору, я увидел у Яшкиной двери высокого старика в арестантском сером халате. У него были седые волосы и серьезное лицо, суровость которого несколько смягчалась каким-то особенным «болезненным» выражением. В отношении к Якову он держался с видимым уважением. Они о чем-то разговаривали у оконца негромко и серьезно.

– Верно тебе рассказываю, – говорил Якову старик. – Ефрем решен и Сидор тоже решен. Рассказывают, в свою губернию по этапу отправлять будут... А твое, вишь, дело...

Конца фразы я не расслышал. Когда я проходил обратно, Яков, с которым я уже был знаком довольно близко, указал на меня, и старик поклонился, но затем опять припал к окошечку. Мне не удалось более увидеть этого арестанта. Очевидно, он заходил сюда из какого-нибудь другого отделения.

Однажды я дал коридорному денег, прося купить Якову, что ему нужно. Тот не понял и передал деньги непосредственно. После этого Яков остановил меня, когда я проходил по коридору.

– Слышь, Володимер, – сказал он. – Спасибо тебе. Милостинку ты христову сотворил, дал коридорному для меня... Да, видишь вот: не беру я их. Прежде, на миру, грешил, брал в руки, а теперь не беру! Вот они тут на полу и валяются. А ты хлебную милостинку сотвори! Из теплых рук хлебная милостинка приятнее. Ироды-то меня на полуторной порции держат. Сам знаешь, что в ей, в полуторной-то порции... Просто сказать, что голодом изводят. Ну, да не вовсе еще Бог от меня отступился, – добрые люди поддерживают: вчера кто-то два ярушничка спустил на веревочке сверху-то. Спасибо, не оставляют православные христиане.

Как бы то ни было, хотя эти факты указывают на некоторое сочувствие среды, тем не менее, в самые страшные минуты, когда живая Яшкина душа содрогалась от дыхания близкой смерти и заставляла его судорожно хвататься за рамы и за холодные решетки тюремного оконца, – в эти минуты душу эту, несомненно, должно было подавлять сознание страшного, ужасающего одиночества...

Был ли Яшка сумасшедший? – Конечно, нет. Правда, сибирская психиатрия решила этот вопрос в положительном смысле, и Яшке предстояло вскоре испытать те же упрощенные приемы лечения, какие испытал остяк Тимошка. Тем не

менее я не сомневаюсь, что Яшка был вовсе не сумасшедший, а подвижник.

Да, если в наш век есть еще подвижники строго последовательные, всем существом своим отдавшиеся идее (какова бы она ни была), неумолимые к себе, «не вкушающие идолжертвенного мяса» и отвергшиеся всецело от греховного мира, то именно такой подвижник находился за крепкою дверью одной из одиночек подследственного отделения.

– Есть семья у тебя? – спросил я однажды Якова.

– Была... – ответил он сурово. – Была семья у меня, было хозяйство, все было...

– А теперь живы ли дети твои?

– Бог знает... Как Бог хранит... Не знаю...

– Тоскливо, должно быть, за своими тебе, за домашними?

Может, письмо тебе написать?

– Нет, не тоскливо, – мотнул он головой, как бы отбиваясь от тягостных мыслей. – Одно вот разве: как бы им устоять, от прав-закону не отступить, – об этом крушусь наипаче...

Несколько времени он сурово молчал за своею дверью.

– На миру душу спасти, – проговорил он задумчиво, – и нет того лучше... Да трудно. Осилит, осилит мир-от тебя. Не те времена ноне... Ноне вместе жить, так отец с сыном, обнявши, погибнете и мать с дочерью... А душу не соблюсти. Ох, и тут трудно, и одному-те... ах, не легко! Лукавый путает, искушает... ироды смущают... Хладом, голодом морят. «Отрекись от Бога, от великого государя»... Скорбит

душа-те, – ох, скорбит тяжело!.. Плоть немощная прискоробна до смерти.

Тем не менее легче было бы даже Михеича совратить с пути, на котором он обрел свое прочное душевное равновесие, чем заставить Яшку свернуть с тернистой тропинки, где он встречал одни горести... Казалось, он не доступен ни страху, ни лести, ни угрозе, ни ласке.

Как-то однажды, в прекрасный, но довольно холодный день поздней уже сибирской осени, Яшка к обычным своим обличениям во время проверки прибавил новое:

– Пошто меня хладом изводите, пошто раму мне, слуги антихриста, не вставляете?

На следующий день была вставлена рама. Теплее и светлее стало в комнате Яшки, но вечером он стучал столь же неуклонно. Эта черная неблагодарность поразила «его благородие» до глубины возмущенной души.

– Подлец ты, Яшка, истинно подлец! – произнес смотритель укоризненно, остановившись против Яшкиной двери. – Я тебе раму вставил, а ты опять за прежнее принимаешься.

– Беззаконник ты! – загремел Яшка в ответ. – Что ты меня рамой обвязать, что ли, хочешь?... Душу рамой купить?... Нет, врешь, не обязал ты меня рамой своей, еще я тебе не подвержен. Для себя раму ты вставил, не для меня. Я без рамы за Бога стоял и с рамой все одно постою же...

И дверь загремела бодрою частою дробью.

– Слыхал? – говорил мне после этого Яшка с глубоким

презрением. – Беззаконник-то на какую хитрость поднялся? Раму, говорит, вставил, – за раму отступись от Бога, от великого государя!.. Этак вот другой ирод из начальников тоже меня сомущал!.. Калачами!.. Привели меня с партией в Тюмень. Смотритель купил два калача, подает милостинку, да и говорит: «Вот, бает, тебе Христова милостинка, два калача, – только уж ты меня слушайся. У меня чтоб в смирении»... Слыхал? – «Милостинку я, мол, возьму. Она Христовым именем принимается... Хоть сам сатана принеси, и от того возьму... А тебе, беззаконнику, я не подвержен». Не-ет! Меня лестью не купишь. Слава Тебе, Господи, поддерживает меня Царица Небесная. Стучу вот!..

Что же это за «прав-закон», за который Яшка принимал свое страстотерпство?

Привелось мне как-то писать официальное заявление, для чего я был вызван в тюремную контору. Меня посадили за стол, дали бумагу, перо и предоставили сочинять мое заявление под шум обычных конторских занятий. В это время «принимали новую партию». Письмоводитель выкликал по списку арестантов и опрашивал их звание, лета, судимость и т. д. Смотритель сидел туг же и рассеянно посматривал на принимаемых. Во всем этом было мало интересного для его благородия: для меня – тем более, поэтому я сочинял свое заявление, не обращая внимания на происходившее.

Но вот монотонный разговор стал оживленнее. Я поднял глаза и увидел следующую картину.

Перед столом стоял человек небольшого роста в сером арестантском халате. Наружность его не отличалась ничем особенным. Казалось, он принадлежал к мелкому мещанству, к тому его слою, который сливается в маленьких городах и пригородах с серым крестьянским людом. Вид он имел равнодушный, пожалуй, можно бы сказать – апатичный, если бы, порой, по лицу его не пробежала чуть заметная саркастическая улыбка, а в глазах не вспыхивал огонек какого-то сознательного превосходства или торжества. Но эти проблески были едва уловимы; они пробежали, на мгновение оживляя неподвижные черты, на которых тотчас опять водворялось выражение вялости. В передней толпились арестанты. Видимо, заинтересованные ходом опроса, они тянулись друг из-за друга, вытягивая шеи и следя за разговором сотоварища с начальством.

– Ты что ж не говоришь? – кипятился письмоводитель. – Что молчишь? Ты ведь мещанин из Камышина? Ведь тут, в твоём статейном списке, написано ясно. Вот!

Письмоводитель ткнул пальцем в лежавшую перед ним бумагу и поднес ее к носу арестанта. Тот презрительно отвернулся, и огонек в его глазах вспыхнул сильнее.

– И ладно, коли написано, – произнес он спокойно.

– Да ты должен отвечать. Веры какой?

– Никакой.

Смотритель быстро повернулся к говорившему и посмотрел на него выразительным, долгим взглядом. Арестант вы-



держал этот взгляд с тем же видом вялого равнодушия.

– Как никакой? В Бога веруешь?

– Где Он, какой Бог?... Ты, что ли, Его видел?...

– Как ты смеешь так отвечать? – набросился смотритель. –

Я тебя, сукина сына, сгною!.. Мерзавец ты этакой!

Мещанин из Камышина слегка пожал плечами.

– Что ж, – сказал он. – Было бы за что гноить-то. Я прямо говорю... За то и сужден.

– Врешь, мерзавец, наверное за убийство сужден. Хороша небось птица!

Мещанин из Камышина сделал было движение, как будто хотел возражать, но через мгновение опять повел плечами...

– Там судите, за что сами знаете.

– Какой твой родной язык? – продолжает письмоводитель вопрос по рубрикам.

– Что еще? – спрашивает опять мещанин с пренебрежением. – Какой еще родной?... Не знаю я...

– Ах, ты подлец! Ведь не по-немецки же ты говоришь. По-русски, чай?

– Слышите сами, по-каковски я говорю.

– Слышим-то мы слышим, да мало этого. Пойми ты, анафема! Надо знать: русский ты или чуваш, мордва какая-нибудь? Понял?

– Чего понимать?... Не знаю, – решительно отрезал мещанин из Камышина.

Письмоводитель убедился, что с камышинским мещани-

ном ничего не поделаешь, и камышинский мещанин был отпущен. При этом зритель сделал многозначительное обещание:

– Погоди, – сказал он, провожая атеиста своим тюремным взглядом. – Мы еще с тобой, дружок, потолкуем на досуге. Авось разговоришься.

От этих слов мне вчуже стало жутко. Арестант только пожал плечами...

Когда я дописал свою бумагу и вышел из конторы, опрос партии еще не был окончен, и в передней толпились арестанты. Они кучкой обступили камышинского мещанина, который стоял среди них с тем же видом вялого равнодушия, хотя, очевидно, находился в положении героя минуты.

– Как же это, чудак! – говорил какой-то рыжеватый философ, с тузом на спине, – пра-а, чудак! Ведь ежели сказываешь, к примеру: «Бога нет», так что же есть по-твоему? А?

– Ничего! – отрезал тот коротко и ясно.

«Ничего!» Выходит, что камышинский мещанин сужден, осужден, закован, сослан, готовится принять неведомую меру мучений из-за... ничего! Казалось бы, к тому, что характеризуется этим словом «ничего», можно относиться лишь безразлично. Между тем камышинский мещанин относится к нему страстно, он является подвижником чистого отрицания, бесстрашно исповедуя свое «ничего» перед врагами этого учения.

Яшка начертал на своем знамени другую формулу: «За

Бога, за великого государя!..» Он был сектант, приверженец «старого прав-закону», но когда я, вернувшись из конторы, проходил мимо его двери, невольная мысль поразила мое воображение: как много общего между этими двумя исповедниками! Яшка порвал свои связи с родиной, с семьей, с родной деревней. Камышинский мещанин сделал то же и даже словом не хочет признать эту связь, когда она ясно установлена на бумаге. «Я вам не подвержен», – говорит Яшка. Камышинский мещанин тоже, очевидно, не признает власти, которой он обязан повиновением. «Нет моего преступления ни в чем, – говорит Яшка, – а и было преступление, так не вам судить – Богу». «Судите, за что знаете», – говорит камышинский мещанин, не желая даже косвенно принять участия в процессе этого суждения. Но в то время, как камышинский мещанин скептически вопрошает: «Какой Бог и кто Его видел?» – Яшка производит неуклонное стучание во имя господне.

Кто же это: непримиримые враги или союзники? Однородные ли это явления или явления разных порядков? Что тут существеннее: пункты сходства или пункты разногласия, – общее у обоих отрицание существующих условий или религиозно-сектантские взгляды, которые есть у Якова и которые изгнал из своего обихода камышинский мещанин?

У Якова, по-видимому, было положительное мирозерцание, основами которого являлись «Бог и великий государь». Но это была какая-то странная смесь мифологии и ре-

ализма! Несуществующие безбожники, направляемые несуществующими министрами Финляндцевыми (министр финансов), заполняют мир, ловят души, требуют отречения «от Бога, от великого государя». И рядом, – несомненно существующее, самое реальное страдание, несомненное гонение за дело, которое Яшка считает правым, сознательная готовность погибнуть и – страшно подумать – полная возможность такого исхода... Яшка предсказывает это на основании своей фантастической теории, а Михеич подтверждает, как несомненную позитивную истину. «Этому стукальщику то же будет, что и Тимошке, а то похуже»...

Для камышинского мещанина «ничего» означает отсутствие всякой цели и смысла в жизни. По мнению Якова, все в мире клонится к злу. Было уже три «сменения»... Какие? – Яшка имеет об них лишь смутные понятия.

– Видишь вот, – ответил он на мой вопрос об этих сменениях. – Читал я в «Сборнике», да видно запомнил. Первое – Рим отпал... Раз... Второе – Византия будто... Два. Ну, третье – московское. Ноне идет четвертое – горше первых. С 61-го году началось.

– Какое же?

– Какое? Ты теперича как пишешься? – неожиданно спросил у меня Яков.

Я не знал, как я пишу, но Яков ответил за меня сам:

– Ты теперь пишешься: бывший государственный крестьянин. Понимай: бывший! Значит, был – да нету. Вот ка-

кое сменение!.. Земское сменение пошло, гражданские власти пошли. Государственных отменили.

С 61-го года мир резко раскололся на два начала: одно – государственное, другое – гражданское, земское. Первое Яшка признавал, второе отрицал всецело без всяких уступок. Над первым он водрузил осьмиконечный крест и приурочил его к истинному прав-закону. Второе назвал царством грядущего антихриста.

– Что же, Яков: под гражданскими-то властями тяжелее, что ли?

– Как не тяжело! Жить стало не можно. Ранее государевы подати платили, а ноне земские подати окромя накладываю... на тех, кто им, значит, подвержен.

– Ты податей не платишь? – спросил я, начиная догадываться о ближайших причинах Яшкина заключения...

– Государственные платим. Сполна великому государю вносим. А на земские мы не обязались. Вот беззаконники и морят, под себя приневоливают. Кресты с церковей посияли.

– Ну, кресты-то на церквах есть.

– Не настоящие... Настоящих не стало... И крещение не настоящее – щепотью... Все их дело, их знамение.

– Постой, Яков! Как это ты рассудишь: ведь и великий государь в те же церкви ходит?

– Великий государь, – ответил Яшка тоном, не допускающим сомнений, – в старом прав-законе пребывает... Ну а царь польской, князь финляндской... тот, значит, в новом...

Оказывалось, что будущее принадлежит новым началам. Уступая давлению этих начал, великий государь издал циркуляр, в котором написано: «Быть по тому и быть по сему», что значит: кого успеют слуги антихриста заманить, – заманивай. Над теми он властен, на тех подати налагай и душами владей. А кто не обязался, кто в истинном прав-Законе стоит крепко, того никто не смеет приневолить.

Новые начала берут силу все более и более. «Беззаконники» пошли против какого-то циркуляра и стали под свою руку приневоливать насильно. Становится все труднее... Пущены в ход всякие средства.

– На тридцать шесть губерен пущено тридцать шесть лисиц. Честью да лестью все пожгут... народу погубят – страсть!..

Нигде нет защиты. Государственное начало с осьмиконечным крестом меркнет. Государственные власти «стоят плохо». Народ подается, не видя опоры. «Пишутся, правда, циркуляры-те, да что уж...» Суды пошли гражданские, тихие...

Тихие суды с 61-го года, то есть именно с тех пор, как в жизнь стала вторгаться гласность! Я не утерпел и попытался разрушить Яшкину фантазмагорию, для чего стал излагать основания нового гласного судопроизводства. Яков слушал довольно внимательно.

– Постой, – перебил он меня, наконец. – Думаешь, я не сужден? Сужден, как же! Безо всякого преступления судебною палатою сужден. Не признаю я суда ихнего... Ну, все

же – судили. Вот набольший-то судья и говорит мне: «Не найдено твоей вины ни в чем. Расступитесь, стража!.. От суда-следствия оправлен». Ну, думаю, вот меня на волю выпихнут, вот выпихнут... А они тихим-то судом звона выпихнули куда!

Я понял: суд гласно оправдал Якова, администрация его выслала. Яшка полагает, что гласный приговор – хитрость антихриста, что, кроме этого приговора, был еще другой, тихий. «Видишь вот, на какие хитрости идет». И все это, конечно, имеет определенную цель: судебная палата, министры, губернаторы, тюремный смотритель, Михеич... все они в заговоре, чтобы предать антихристу Яшкину душу...

Вследствие всего этого на миру «жить стало не можно». «Вместе отец с сыном, обнявши, погибнет». Общественные связи нарушены. Приходится душу блюсти в одиночку, вразброд. Победа «слугам антихриста» почти обеспечена. Бросил Яшка семью, бросил хозяйство, бросил все, чем наполнялась его труженическая земледельческая жизнь, и теперь он один во власти «беззаконников». И «пошто только мучают? – удивляется Яшка. – Невозможно мне от истинного прав-закону отступить. Не будет этого, нет! Наплюю я им под рыло. Вот взял – приколот, только и есть. А то... морят попусту!» Он был вполне уверен, что если до сих пор его еще «не приколоты», то лишь потому, что живая Яшкина душа доставит антихристу большее удовольствие.

Но даже и это положение казалось Яшке лучше того, ко-

торое ожидает «на миру» всех, принявших печать антихриста. Новые порядки грозят всеобщей неминуемой бедой.

– Что дальше, то и хуже будет. Худа ждать надо, добра не видать, – в «Сборнике» писано... Земля на выкуп пойдет.

– Да ведь и теперь земля идет на выкуп, – заметил я.

– То-то, и теперь идет, – отвечал Яшка невозмутимо. – А там и еще хуже будет. У кого двенадцать тыщей будет, тот и землей владеть станет. А и кто тыщу, другую имеет, и те без земли погинете. Верно я тебе говорю. Молод ты еще, поживешь – вспомнишь.

– Как же, Яков, неужто можно думать, что антихрист сильнее Бога? Неужто божия правда не сладит с кривдой?

Яков подумал. Я заметил на его лице следы усиленной умственной работы. Он почерпнул откуда-то определенный ответ.

– Ну, – сказал он, – не бывать тому. Поработают, да и погибнут... Верно!.. – повторил он через минуту. – Поработают, да и погибнут. А только не увидеть нам с тобой правды.

## V

– Ты, Яков, не признаешь гражданского суда. А государственный признаешь? – допытывал я в другой раз.

– Признаю государственный.

– Какие же, по-твоему, государственные власти? Например, генерал-губернатор?



– Енерал-губернатор – государственный... От великого государя. Правильный.

– Значит, его решение правильное?...

– Давно велел отпустить меня. Да, вот, видишь ты...

– Постой. Ну, положим, твое дело стал бы судить генерал-губернатор.

– За что меня судить? Не за что.

– погоди! Ты, вот, говоришь: не за что, а гражданские власти говорят: есть за что. Надо ведь кому-нибудь рассудить. Государственные власти ты признаешь? Ну, вот, они и судят, и решают твое дело против тебя.

– Не могут они... Они должны правильно...

– Да ты обдумай хорошенько. Говорят тебе гражданские власти: пусть, мол, рассудит генерал-губернатор твое дело. Ведь он имеет право решать дела, так ли?

– Ну? – сказал Яков, видимо ожидая, что из этого выйдет.

– Ты ему должен подчиниться, как правильной государственной власти?...

– Нн-у-у? – протянул Яков, осторожно избегая ответа и, очевидно, заинтересованный возможностью некоторой новой комбинации.

– Ну, вот, и выходит от него решение: подчиняйся, Яков, новым порядкам, неси земские повинности...

Яшка смутился.

– Эвона! Видишь ты... Вот... – подыскивал он ответ.

– Теперь отвечай мне: покоришься ты или нет?

– То-оно...<sup>7</sup> Видишь ты... Где уж, поди...

– Нет! – отрезал он, наконец. – Где, поди, покориться. Како коренье... Невозможно мне...

И на лицо его легло то же выражение непоколебимого сурового упорства.

– Слушай что я тебе спрошу, Володимер, – сказал он мне однажды. – Ты какого прав-закону будешь? Нашего же, видно?

Чтобы испытать Яшкину терпимость, я резко отверг свою солидарность с Яшкиным прав-законом и поставил перед этим фанатиком «старого, прав-закону» основания совершенно несродного ему учения. В выражениях, понятных для Якова, я развил известный кодекс практической нравственности с основами братства и равенства. Злоупотребляя несколько его невежеством в догматике и Св. Писании, я опирался на изречения: «по делам их познаете их» – и на подходящих текстах из Иоанна, совершенно отвергая обрядность и ставя на её место «дела», то есть практическое стремление к осуществлению формулы любви. Все это я выдал за свою религию.

Яшка слушал внимательно, но, к моему удивлению, вовсе не заметил самого существенного в моем исповедании.

– Что ж? – удивил он меня. – Это и по-нашему так: все

---

<sup>7</sup> То-оно... в этом слове сказывается уроженец Пермской или Вятской губернии. Оно употребляется в тех местах каждый раз, когда говорящий испытывает затруднение и не находит подходящего выражения. (*Прим. автора.*)

от Адама.

Я поставил вопрос яснее и обрушился с своею критикой на двуперстное знамение.

– Читал ты в Писании: «Поклонитесь в духе и истине»?...  
А что такое персты: дух или плоть?

Тут Яшка понял.

– Сказано тоже... – медленно заговорил он, – поклонитесь душою и телом...

– А где это сказано? – спросил я.

Яков задумался и не ответил.

– Что ж? Это тоже хорошо... – сказал он в раздумьи, – конечно, всяк по своему разумению.

И, вздохнув, прибавил с странным выражением:

– Всяк по-своему с ума-то сходит...

## VI

Спустя две недели после нашего прибытия в острог, перед вечером, – но еще задолго до поверки, – арестантов стали загонять в камеры. Коридоры опустели, и в подследственном отделении воцарилась тяжелая, будто выжидающая тишина, по которой мы привыкли уже угадывать приближение высшего тюремного начальства. Вскоре гроыхнула дверь дальнего коридора, послышалось звяканье оружия, шаги многочисленной толпы.

Ближе и ближе. Толпа ввалилась в наш коридор. Шаги от-

давались отчетливо и смолкли у Яшкиной двери.

Лязгнули запоры, дверь отворилась. Несколько секунд стояло гробовое молчание, затем раздался голос старика – «помощника»:

– Выходи, Яков... на волю.

– Врешь! – послышался в ответ суровый голос Якова. – Врешь, обманываешь, беззакониях! Не те времена, чтобы на волю меня...

Конвойные бросились в камеру; послышался шум борьбы, что-то грузно повалилось на пол.

– По душу! – вскрикнул Яков, подавленным, как будто задышающимся, голосом. – По душу пришли, господи!.. Смерть, смерть моя! – кричал он все громче и громче. В его голосе, то сдавленном, то резком и громком, слышалась глубокая тоска и страх смерти.

Сердце у меня сильно билось... Мною начинала овладевать Яшкина фантазмагория, в связи с комментариями реалиста Михеича: «У них это живо!» Яшку вязали, чтобы свезти в дом сумасшедших, где царили известные упрощенные приемы лечения. Яков отбивался в последней степени отчаяния.

– Володимер, Володимер! – вскрикнул он, вдруг вспомнив, что рядом, хотя за такую же дверь, есть человек, быть может, способный понять его положение.

– Володимер, Володимер, Володимер!..

Фантазмагория овладела мною всецело. Я громко засту-

чал в свою дверь.

– Что такое еще? – послышался голос помощника смотрителя. – Кто это стучит?

– Политические стучат, ваше благородие, – сказал Михеич.

– Спроси, что надо?... Постой, я сам спрошу.

Седой старик в мундире и папахе подошел к нашей двери и уставился в меня своими старчески бесстрастными, подслеповатыми глазами.

– Вам что угодно?

Вопрос меня озадачил. Что мне было угодно? Реальная действительность глядела на меня в лице этого старика, и я не знал, что сказать реальной действительности. Я сам был заперт в одиночке, за крепкою дверью, и мне ли было вступаться за Яшку? на каком основании?

– Что тут творится? – спросил я. – Что вы делаете с Яковом?

– Это... позвольте... Какое вам дело? Дело это не ваше... Получено предписание от начальства: отправить № 5 в дом сумасшедших. – Ну, мы и отправляем... Может ли все это до вас касаться?

## VII

В отделении подследственных водворилась тишина, Яшку, связанного, пронесли по коридорам, уложили в телегу и

увезли вон из тюрьмы.

Отступит ли Яков «от Бога, от великого государя»? Отступит ли сибирская психиатрия от упрощенных приемов лечения? Ответ был ясен... Тяжелые мысли теснились в мозгу: меня подавляла мертвая тишь одиночки и коридоров.

Старик Михеич тихо запер дверь Яшкиной камеры, постоял перед нею, задумчиво покачал головой и затем уселся на своем излюбленном месте. Старая тюремная крыса бодро прошла по коридору, бросая довольные взгляды на опустевшую каморку, из которой не слышалось более громового Яшкина стука. Старик бормотал что-то и скверно улыбался.

Вечером «поверка» обходила камеры обычным порядком. Все было тихо.

– Нет уже стукальщика, – сказал его благородие, обращаясь к конвойному офицеру. – Свезли нынче в дом сумасшедших.

Вдруг по коридору пронеслись гулкие удары... Его благородие вздрогнул, тюремная крыса уронила карандаш и тетрадку, офицер как-то нервно обернулся в ту сторону. Вся «поверка» точно застыла.

– Пошто держите меня, пошто морите, беззаконники?! – раздался вдруг козлиный голос Тимошки-остяка, и общее напряжение разразилось смехом.

Эта выходка была совершенно неожиданна. Козлиный голосок остяка так смешно подражал могучим окрикам Якова, все это в общем представляло столь жалкую и смешную па-

родию, что его благородие расхохотался. За его благородием захохотала вся «поверка». Смеялся старичок-помощник, моргая подслеповатыми глазками, грохотал толстяк-офицер, сотрясаясь тучными телесами, хихикала тюремная крыса, улыбка шевелила длинные усы Михеича, смеялись в бороду солдаты, вытянувшись в струнку и держа ружья к ноге...

На следующий день и мы тронулись в путь.

*1880 г.*

# Убивец

## I. Бакланы

Когда я на почтовой тройке подъехал к перевозу, уже вечерело. Свежий, резкий ветер рябил поверхность широкой реки и плескал в обрывистый берег крутым прибоем. Заслышав еще издали почтовый колокольчик, перевозчики остановили «плашкот»<sup>8</sup> и дожидались нас. Затормозили колеса, спустили телегу, отвязали «чалки». Волны ударили в досчатые бока плашкота, рулевой круто повернул колесо, и берег стал тихо удаляться от нас, точно отбрасываемый ударявшею в него зыбью.

Кроме нашей, на плашкоте находились еще две телеги. На одной я разглядел немолодого, солидного мужчину, по-видимому, купеческого звания, на другой – трех молодцов, как будто из мещан. Купец неподвижно сидел в повозке, закрываясь воротником от осеннего свежего ветра и не обращая ни малейшего внимания на случайных спутников. Мещане, наоборот, были веселы и сообщительны. Один из них, косоглазый и с рваною ноздрей, то и дело начинал наигрывать на гармонии и напевать диким голосом какие-то песни; но ве-

---

<sup>8</sup> Плашкот – плоскодонное судно. (Ред.)



тер скоро обрывал эти резкие звуки, разнося и швыряя их по широкой и мутной реке. Другой, державший в руке полуштоф и стаканчик, потчевал водкой моего ямщика. Только третий, мужчина лет тридцати, здоровый, красивый и сильный, лежал на телеге врастяжку, заложив руки под голову, и задумчиво следил за бежавшими по небу серыми тучами.

Вот уже второй день, в моем пути от губернского города N., то и дело встречаются эти примелькавшиеся фигуры. Я еду по спешному делу, погоняя, что называется, и в хвост и в гриву, но ни купец на своей кругленькой кобылке, запряженной в двухколесную кибитку, ни мещане на своих поджарых клячах не отстают от меня. После каждой моей деловой остановки или роздыха я настигаю их где-нибудь в пути или на перевозе.

– Что это за люди? – спросил я у моего ямщика, когда тот подошел к телеге.

– Кóстюшка с товарищами, – ответил он сдержанно.

– Кто такие? – переспросил я, так как имя было мне неизвестно.

Ямщик как будто стеснялся сообщать мне дальнейшие сведения, ввиду того, что разговор наш мог быть услышан мещанами. Он оглянулся на них и потом торопливо ткнул кнутом в направлении к реке.

Я посмотрел в том же направлении. По широкой водной поверхности расходилась темными полосами частая зыбь. Волны были темны и мутны, и над ними носились, описы-

вая беспокойные круги, большие белые птицы, вроде чаек, то и дело падавшие на реку и подымавшиеся вновь с жалобно-хищным криком.

– Бакланы! – пояснил ямщик, когда плашкот подъехал к берегу и наша тройка выхватила нас на дорогу. – Вот и мешанишки эти, – продолжал он, – те же бакланы. Ни у них хозяйства, ни у них заведений. Землишку, слышь, какая была, и ту летось продали. Теперь вот рыщут по дорогам, что тебе волки... Житья от них не стало.

– Грабят, что ли?

Пакостят. Чемодан у проезжающего срезать, чаю, место-другое с обоза стянуть – ихнее дело... Плохо придется, как и у нашего брата, у ямщика обратного, лошадь, то и гляди, уведут. Известно, зазеваешься, заснешь, – грешное дело, а он уж и тут. Этому вот Кóстюшке ямщик кнутом ноздрю-то вырвал... Верно!.. Помни: Коська этот – первеющий варвар... Товарища вот ему настоящего теперь нету... И был товарищ, да обозчики убили...

– Попался?

– Попался в деле. Не пофартило. Натешились над ним ребята, обозчики то есть.

Рассказчик засмеялся в бороду.

Первое дело – пальцы рубили. Опосля огнем жгли, а наконец того палку сунули, выпустили кишки да и бросили... Помер, собака!..

– Да ты-то с ними знакомый, что ли? С чего они тебя вод-

кой-то потчевали?

– Будешь знаком, – сказал ямщик угрюмо. – Сам тоже ви- нища им выпоил не мало, – потому – опасаюсь во всякое вре- мя... Помни: Костюшка недаром и нонче-то выехал... Эс- только места даром коней гонять не станет... Фарт чует, дья- вол, это уже верно!.. Купец вот тоже какой-то... – задумчи- во добавил ямщик после некоторого молчания, – не его ли охаживают теперича?... Только вряд, не похоже будто... И еще с ним новый какой-то. Не видывали мы его раньше.

– Это который в телеге лежал?

– Ну, ну... Жиган, полагать надо... Здоровенный дья- вол!.. – Ты вот что, господин!.. – заговорил он вдруг, пово- рачиваясь ко мне. – Ты уж, мотри, поберегайся... Ночью не езд. Не за тобой ли, грехом, варвары-то увязались...

– А ты меня знаешь? – спросил я.

Ямщик отвернулся и задергал вожжами.

– Нам неизвестно, – отвечал он уклончиво. – Сказывали – кудиновский приказчик из губернии проедет... Дело не на- ше...

Очевидно, меня здесь знали. Я вел процесс купцов Куди- новых с казною и на днях его выиграл. Мои патроны были очень популярны в той местности да и во всей Западной Си- бири, а процесс производил сенсацию. Теперь, получив из губернского казначейства очень крупную сумму, я торопил- ся в город NN, где предстояли срочные платежи. Времени было немного, почта в NN ходила редко, и потому деньги я

вез с собой. Ехать приходилось днем и ночью, кое-где для скорости сворачивая с большой дороги на прямые проселки. Ввиду этого предшествовавшая мне молва, способная поднять целые стаи хищных «бакланов», не представляла ничего утешительного.

Я оглянулся назад. Несмотря на наступавший сумрак, по дороге виднелась быстро скакавшая тройка, а за нею на некотором расстоянии катилась купеческая таратайка.

## **II. Лог под «Чертовым пальцем»**

На \*\*ской почтовой станции, куда я прибыл вечером, лошадей не оказалось.

– Эх, батюшка, Иван Семеныч! – уговаривал меня Почтовый смотритель, толстый добряк, с которым во время частых переездов я успел завязать приятельские отношения. – Ей-богу, мой вам совет: плюньте, не ездите к ночи. Ну их и с делами! Своя-то жизнь дороже чужих денег. Ведь тут теперь на сто верст кругом только и толков, что о вашем процессе да об этих денжищах. Бакланишки, поди, уже заметались... Ночуйте!..

Я, конечно, сознавал всю разумность этих советов, но последовать им не мог.

– Надо ехать... Пошлите, пожалуйста, за «вольными»... И то время уходит...

– Эх вы, упрямец! Ну, да тут-то я вам дам «дружка»<sup>9</sup> надежного. Он вас доставит в Б. к молокану. А уж там непременно ночуйте. Ведь ехать-то мимо Чертова лога придется, место глухое, народец аховый... Хоть свету дождитесь.

Часа через два я сидел уже в телеге, напутствуемый советами приятеля. Добрые лошади тронулись сразу, а ямщик, подбодренный обещанием на водку, гнал их всю дорогу, как говорится, в три кнута; до Б. мы доехали живо.

– Куда теперь меня доставишь? – спросил я у ямщика.

– К «дружку», к молокану. Мужик хороший.

Проехав мимо нескольких раскиданных по лесу избенок, мы остановились у ворот просторного, очевидно, зажиточного, дома. Нас встретил с фонарем в руке старик с длинной седою бородой, очень почтенного вида. Он поднял свой фонарь над головой и, оглядев мою фигуру своими подслеповатыми глазами, сказал спокойным старческим голосом:

– А, Иван Семеныч!.. То-то сказывали тут ребята проезжие: поедет кудиновский приказчик из городу... Коней, мол, старик, готовь... А вам, я говорю, какая забота?... Они, может, ночевать удумают... Дело ночное.

– А какие ребята-то? – перебил мой ямщик.

– А шут их знает. Бакланишки, надо быть! На жиганов тоже смахивают по виду-то... Думаю так, что из городу, а кто именно – сказать не могу... Где их всех-то узнаешь... А

---

<sup>9</sup> Дружками называют в Сибири ямщиков, «гоняющих» по вольному найму. (Прим. автора.)

ты, господин, ночуешь, что ли?

– Нет. Лошадей мне, пожалуйста, поскорей! – сказал я, не слишком-то довольный предшествовавшей мне молвой.

Старик немного подумал.

– Заходи в избу, чего здесь-то стоять... Вишь, горе-то, лошадей у меня нету... Третьего-днись в город с кладью парнишку усла. Как теперь будешь?... Ночуй.

Эта новая неудача сильно меня обескуражила. Ночь между тем сгустилась в такую беспросветную тьму, какая возможна только в сибирскую ненастную осень. Небо сплошь было покрыто тяжелыми тучами. Взглянув вверх, можно было с трудом различить, как неслись во мраке тяжелые, безобразные громады; но внизу царствовала полная темнота. На два шага не видно было человека. Моросил дождик, слегка шумя по деревьям. В густой тайге шел точно шорох и таинственный шепот.

И все-таки ехать было необходимо. Войдя в избу, я попросил хозяина послать за лошадьми к кому-нибудь из соседей.

– Ох, господин, – закачал старик своею седою головой, – на грех ты торопишься, право... Да и ночка же выдалась! Египетская тьма, прости господи!

В комнату вошел мой ямщик, и у него с хозяином пошли переговоры и советы. Оба еще раз обратились ко мне, прося остаться. Но я настаивал. Мужики о чем-то шептались, перебирали разные имена, возражали друг другу, спорили.

– Ладно, – сказал ямщик, как будто неохотно соглашаясь

с хозяином. – Будут тебе лошади. Съезжу сейчас недалеко тут, на заимку.

– Нельзя ли поближе найти? Пожалуй, долго будет...

– Не долго! – решил ямщик, а хозяин добавил сурово:

– Куда торопиться-то? Знаешь, пословица говорится.

«скоро, да не споро»... Успеешь...

Ямщик стал одеваться за перегородкой. Хозяин продолжал что-то внушать ему своим дребезжавшим старческим голосом. Я начал дремать у печки.

– Ну, парень, – услышал я голос хозяина уже за дверью, – скажи «убивцу»-то, пушай поторапливается... Вишь, ему не терпится...

Почти тотчас же со двора послышался топот скачущей лошади.

Последняя фраза старика рассеяла мою дремоту. Я сел против огня и задумался. Темная ночь, незнакомое место, незнакомые люди и не совсем понятные речи, и, наконец, это странное, зловещее слово... Мои нервы были расстроены.

Через полтора часа под окнами послышался звон колокольчика. Тройка остановилась у подъезда. Я собрался и вышел.

Небо чуть-чуть прояснилось. Тучи бежали быстро, точно торопились куда-то убраться вовремя. Дождь перестал, только временами налетали откуда-то сбоку, из мрака, крупные капли, как будто второпях роняемые быстро бежавшими облаками. Тайга шумела. Подымался к рассвету ветер.

Хозяин вышел провожать меня с фонарем, и благодаря этому обстоятельству я мог рассмотреть моего ямщика. Это был мужик громадного роста, крепкий, широкоплечий, настоящий гигант. Лицо его было как-то спокойно-угрюмо, с тем особенным отпечатком, какой кладет обыкновенно застарелое сильное чувство или давно засевавшая невеселая душа. Глаза глядели ровно, упорно и мрачно.

Правду сказать, у меня мелькнуло-таки желание отпустить восвояси этого мрачного богатыря и остаться на ночь в светлой и теплой горнице молокана, но это было только мгновение. Я ощупал револьвер и сел в повозку. Ямщик закрыл полог и неторопливо полез на козлы.

– Ну, слышь, «убивец», – напутствовал нас старик, – смотри, парень, в оба. Сам знаешь...

– Знаю, – ответил ямщик, и мы нырнули в тьму ненастной ночи.

Мелькнуло еще два-три огонька разрозненных избенок. Кое-где на фоне черного леса клубился в сыром воздухе дымок, и искры вылетали и гасли, точно таяли во мраке. Наконец, последнее жильё осталось сзади. Вокруг была лишь черная тайга да темная ночь.

Лошади бежали ровно и быстро мчали меня к роковому «логу»; однако до лога оставалось еще верст пять, и я мог на свободе обдумать свое положение. Как это случается иногда в минуту возбуждения, оно представилось мне вдруг с поразительной ясностью. Вспомнив хищнические фигуры



«бакланов», таинственность сопровождавшего их купца, затем странную неотвязчивость, с какою все они следовали за мною, — я пришел к заключению, что в логу меня непременно ожидает какое-нибудь приключение. Роль, какую примет при этом угрюмый возница, оставалась для меня загадкой Эдипа.

Загадка эта скоро, однако, должна была разрешиться. На посветлевшем несколько, но все еще довольно темном небе выделялся уже хребет. На нем, вверху, шумел лес, внизу, в темноте, плескалась речка. В одном месте большая черная скала торчала кверху. Это и был «Чертов палец».

Дорога жалась над речкой, к горам. У «Чертова пальца» она отбегала подальше от хребта и на нее выходил из ложбины проселок. Это было самое опасное место, прославленное многочисленными подвигами рыцарей сибирской ночи. Узкая, каменистая дорога не допускала быстрой езды, а кусты скрывали до времени нападение. Мы подъезжали к ложбине. «Чертов палец» надвигался на нас, все вырастая вверху, во мраке. Тучи пробегали над ним и, казалось, задевали за его вершину.

Лошади пошли тихо. Коренная осторожно постукивала копытами, внимательно вглядываясь в дорогу. Пристяжки жались к оглоблям и пугливо храпели. Колокольчик вздрагивал как-то неровно, и его тихое потренькиванье, отдаваясь над рекой, расплывалось и печально тонуло в чутком воздухе...

Вдруг лошади остановились. Колокольчик порывисто дрогнул и замер. Я привстал. До дороге, меж темных кустов, что-то чернело и двигалось. Кусты шевелились.

Ямщик остановил лошадей как раз вовремя: мы избегли нападения сбоку; но и теперь положение было критическое. Вернуться назад, свернуть в сторону – было невозможно. Я хотел уже выстрелить наудачу, но вдруг остановился.

Громадная фигура ямщика, ставшего на козлах, закрыла кусты и дорогу. «Убивец» поднялся, неторопливо передал мне вожжи и сошел на землю.

– Держи ужо. Не пали!..

Он говорил спокойно, но в высшей степени внушительно. Мне не пришло в голову ослушаться: моих подозрений как не бывало; я взял вожжи, а угрюмый великан двинулся вперед по направлению к кустам. Лошади тихо и как-то разумно двинулись за хозяином сами.

Шум колес по каменистой дороге мешал мне слушать, что происходило в кустах. Когда мы поровнялись с тем местом, где раньше заметно было движение, «убивец» остановился.

Все было тихо, только вдали от дороги, по направлению к хребту, шумели листья и слышался треск сучьев. Очевидно, там пробирались люди. Передний, видимо, торопился.

– Костюшка это, подлец, впереди всех бежит, – сказал «убивец», прислушиваясь к шуму. – Э, да один, гляди-ко, остался!

В это время из-за куста, очень близко от нас, выделилась

высокая фигура и как-то стыдливо нырнула в тайгу вслед за другими. Теперь явственно слышался в четырех местах шум удалявшихся от дороги людей.

«Убивец» все так же спокойно подошел к своим коням, поправил упряжку, звякнул дугой с колокольчиком и пошел к облучку.

Вдруг на утесе, под «Пальцем», сверкнул огонек. Грянул ружейный выстрел, наполнив пустоту и молчание ночи. Что-то шлепнулось в переплет кошовки и шарахнулось затем по кустам.

«Убивец» кинулся было к утесу, как разъяренный, взбесившийся зверь, но тотчас же остановился.

– Слышь, Коська, – сказал он громко, глубоко взволнованным голосом, – не дури, я те говорю. Ежели ты мне теперича невинную животину испортил, – уходи за сто верст, я те достану!.. – Не пали, господин! – добавил он сурово, обращаясь ко мне.

– Мотри и ты, «убивец», – слышался от утеса чей-то сдержанный, как будто не Костюшкин голос. – Не в свое дело пошто суешься?

Говоривший как будто боялся быть услышанным тем, к кому обращался.

– Не грози, ваше степенство, – с презрением ответил ямщик. – Не страшен, небось даром что с бакланами связался!

Через несколько минут лог под «Чертовым пальцем» остался у нас назади. Мы выехали на широкую дорогу.

### III. «Убивец»

Мы проехали версты четыре в глубоком молчании. Я обдумывал все случившееся, ямщик только перебирал вожжи, спокойно понукая или сдерживая своих коней. Наконец, я заговорил первый:

– Ну, спасибо, приятель! Без тебя мне, пожалуй, пришлось бы плохо!

– Не на чем, – ответил он.

– Ну, как не на чем? Эти молодцы, видно, народ отчаянный...

– Отчаянный, это верно!

– А ты их знаешь!

– Костюшку знаю... Да его, варвара, почитай, всякая собака знает... Купца тоже ранее примечал... А вот того, который остался, не видал будто... Видишь ты, понадеялся на Костюшку, остался. Да нет, Костюшка, брат, не того десятка... Завсегда убегает в первую голову... А этот смелый...

Он помолчал.

– Не бывало этого ранее, никогда не бывало, – заговорил он опять тихо, покачивая головой. – Костюшка его откуда ни то раздобыл... Скликает воронья на мою голову, проклятый...

– Почему они тебя так боятся?

– Боятся, верно это!.. Уложил я у них тут одного...

Он остановил лошадей и повернулся на козлах.

— Погляди, — сказал он, — вон он, лог-то, виднеется, — погляди, погляди!.. Тут вот, в этом самом логу, я этого человека убил...

Мне показалось, что, когда он высказывал это признание, голос его дрожал; мне показалось также, что я вижу в его глазах, слабо освещенных отблеском востока, выражение глубокой тоски.

Повозка стояла на гребне холма. Дорога шла на запад. Сзади, за нами, на светлеющем фоне востока вырисовывалась скалистая масса, покрытая лесом; громадный камень, точно поднятый палец, торчал кверху. Нортов лог казался близехонько.

На вершине холма нас обдавало предутренним ветром. Озябшие лошади били копытами и фыркали. Коренная рванула вперед, но ямщик мгновенно осадил всю тройку; сам он, перегнувшись с облучка, все смотрел по направлению к логу.

Потом он вдруг повернулся, собрал вожжи, приподнялся на козлах и крикнул... Лошади сразу подобрались, подхватили с места, и мы помчались с вершины холма под гору.

Это была бешеная скачка. Лошади прижали уши и понеслись, точно в смертельном страхе, а ямщик то и дело приподнимался и без слова помахивал правой рукой. Тройка как будто чуяла, хотя и не могла видеть этих движений... Земля убегала из-под колес, деревья, кусты бежали навстречу и

будто падали за ними назад, скошенные бешеным вихрем...

На ровном месте мы опять поехали тише. От лошадей валил пар. Коренная тяжело дышала, а пристяжки вздрагивали, храпели и водили ушами. Помаленьку они, однако, становились спокойнее. Ямщик отпускал вожжи и ласково ободрял коней...

– Тише, милые, тише!.. Не бойся... Вот, ведь лошадь, – повернулся он ко мне, – бессловесная тварь, а тоже ведь понимает... Как на угор этот выехали, да оглянулись, – не удержишь... Грех чуют...

– Не знаю, – сказал я, – может, оно и так; да только на этот раз ты ведь сам их погнал.

– Погнал нешто? Ну, может, и впрямь погнал. Эх, барин! Кабы знал ты, что у меня на сердце-то...

– Что ж? Ты расскажи, так узнаю...

«Убивец» потупился.

– Ладно, – сказал он, помолчав, – расскажу тебе... Эх, милые! Ступай, ступай, не бойся...

Лошади застучали по мягкой дороге ровною, частою рысцой.

...Видишь ты... Было это давно... Оно хоть и не очень давно, ну, да воды-то утекло много. Жизнь моя совсем по-иному пошла, так вот поэтому и кажется все, что давно это было. Крепко меня люди обидели, – начальники. А тут и Бог вдобавок убил: жена молодая да сынишка в одночасье померли. Родителей не было – остался один-одинешенек на

свете: ни у меня родных, ни у меня друга. Поп – и тот последнее имение за похороны прибрал. И стал я тогда задумываться. Думал, думал, и, наконец, того, пошатился в вере. В старой-то пошатился, а новой еще не обрел. Конечно, дело мое темное. Грамоте обучен плохо, разуму своему тоже не вовсе доверяю... И взяла меня от этих мыслей тоска, то есть такая тоска страшная, что, кажется, рад бы на белом свете не жить... Бросил я избу свою, какое было еще хозяйствишко – все кинул... Взял про запас полушубок, да порты, да сапоги-пару, вырезал в тайге посошок и пошел...

– Куда?

– Да так, никуда. В одном месте поживу, за хлеб поработаю – поле вспашу хозяину, а в другое – к жатве поспею. Где день проживу, где неделю, а где и месяц; и все смотрю, как люди живут, как Богу молятся, как веруют... Праведных людей искал.

– Что же, нашел?

– Как сказать тебе?... Конечно, всякие тоже люди есть, и у всякого, братец, свое горе. Это верно. Ну, только все же плохо, братец, в нашей стороне люди Бога-то помнят. Сам тоже понимаешь: так ли бы жить-то надо, если по Божьему закону?... Всяк о себе думает, была бы мамона сыта. Ну, что еще: который грабитель в кандалах закован идет, и тот не настоящий грабитель... Правду ли я говорю?

– Пожалуй... Ну и что же?

– Ну, еще пуще стал на миру тосковать... Вижу, что толку

нету, – мечусь, все равно как в лесу... Теперь, конечно, маленькое понятие имею, да и то... Ну а тогда вовсе стал без ума. Надумал, например, в арестанты поступить...

– Это как же?

– А так, очень просто: назвался бродягой, – и посадили, вроде крест на себя наложил...

– Что же, легче ли стало от этого?

– Какой-те легче! Конечно, глупость одна. Ты вот, может, в тюрьме не бывал, так не знаешь, а я довольно узнал, каков это есть монастырь. Главное дело – без пользы всякой живут люди, без работы. Суется это он из угла в угол, да пакость какую ни есть и надумает. На скверное слово, на отчаянность, – самый скорый народ, а чтоб о душе подумать, о Боге там, – это за большую редкость, и даже еще смеются... Отчаянный самый народ. Вижу я, что, по глупости своей, не в надлежащее место попал, и объявил свое имя, стал из тюрьмы проситься. Не пускают. Справки пошли, то, другое... Да еще говорят: как смел на себя самовольно этокое звание принять?... Истомили вконец. Не знаю уж, что и было бы со мной, да вышел тут случай... И плохо мне от этого самого случая пришлось... ну а без него-то, пожалуй, было бы еще хуже...

Прошел как-то по тюрьме говор: Безрукого, мол, покаянника опять в острог приведут. Слышу я разговоры эти: кто говорит «правда», другие спорятся, а мне, признаться, в ту пору и ни к чему было: ведут, так ведут. Мало ли каждый



день приводят? Пришли это из городу арестантики, говорят: «Верно. Под строгим конвоем Безрукого водят. К вечеру беспрременно в острог». «Шпанка»<sup>10</sup> на двор повалила – любопытно. Вышел и я погулять тоже: не то чтобы любопытно было, а так, больше с тоски, все, бывало, по двору суешся. Только стал я ходить, задумался и о Безруком забыл совсем. Вдруг отворяют ворота, смотрю – ведут старика. Старичонка-то маленький, худенький, борода седая болтается, длинная; идет, сам пошатывается – ноги не держат. Да и рука одна без действия висит. А между прочим, пятеро конвою с ним и еще штыки к нему приставили. Как увидел я это, так меня даже шатнуло... «Господи, думаю, чего только делают. Неужели же человека этак водить подобает, будто тигру какую? И диви бы еще богатырь какой, а то ведь старичок ничтожный, неделя до смерти ему!...»

Взяла меня страшная жалость. И что больше смотрю, то больше сердце у меня разгорается. Провели старика в контору; кузнеца позвали – ковать в ручные и ножные кандалы, накрепко. Взял старик железы, покрестил старым крестом, сам на ноги надел. «Делай!» – говорит кузнецу. Потом «наручни» покрестил, сам руки продел. «Сподобил, говорит, Господи, покаяния ради!»

Ямщик замолчал и опустил голову, как будто переживая в воспоминании рассказанную сцену. Потом, потрянув голо-

---

<sup>10</sup> Шпанкой на арестантском жаргоне зовут серую арестантскую массу. (Прим. автора.)

вой, заговорил опять:

– Прельстил он меня тогда, истинно тебе говорю: за сердце взял. Удивительное дело! После-то я его хорошо узнал: чистый дьявол, прости господи, сомуститель и враг. А как мог из себя святого представить! Ведь и теперь, как вспомню его молитву, все не верится: другой человек тогда был, да и только.

Да ведь и не я один. Поверишь ли, «шпанка» тюремная – и та притихла. Смотрят все, молчат. Которые раньше насмехались, и те примолкли, а другой даже и крестное знамение творит. Вот, брат, какое дело!

Ну а уж меня он прямо руками взял. Потому как был я в то время в задумчивости, вроде оглашенного, и вошло мне в голову, что есть этот старик истинный праведник, какие встарину бывали. Ни с кем я в ту пору не то что дружбу водить, а даже не разговаривал. Я ни к кому, и ко мне никто. Иной раз и слышу там разговоры ихние, да все мимо ушей, точно вот мухи жужжат... Что ни надумаю, – все про себя; худо ли, хорошо ли, – ни у кого не спрашивал. Вот и задумал я к старику к этому в «секретную» пробраться; подошел случай, сунул часовым по пятаку, они и пропустили, а потом и так стали пускать, даром. Глянул я к нему в оконце, вижу: ходит старик по камере, железы за ним волочатся, да все что-то сам себе говорит. Увидел меня, повернулся и подходит к дверям.

– Что надо?

– Ничего, говорю, не надо, а так... навестить пришел. Чай, одному-то скучно.

– Не один я здесь, отвечает, а с Богом, с Богом-то не скучно, а все же доброму человеку рад.

А я стою перед ним дурак дураком, он даже удивляется, посмотрит на меня и покачает головой. А раз как-то и говорит:

– Отойди-ка, парень, от оконца-то, хочу тебя всего видеть.

Отошел я маленько, он глаз-то к дыре приставил, смотрел, смотрел и говорит:

– Что ты за человек за такой, сказывайся.

– Чего сказываться-то, – отвечаю ему, – самый потерянный человек, больше ничего.

– А можно ли, говорит, на тебя положиться? Не обманешь?...

– Никого, мол, еще не обманывал, а тебя и подавно. Что прикажешь, все сделаю верно.

Подумал он немножко, а потом опять говорит: «Нужно мне человека на волю спсылать нынче ночью. Не сходишь ли?» – «Как же мне, говорю, отсюда выйти?» – «Я тебя научу», – говорит. И точно, так научил, что вышел я ночью из тюрьмы все равно, как из избы своей. Нашел человека, которого мне он указал, сказал ему «слово». К утру назад. Признаться, как стал подходить к острогу, на самой зорьке, стало у меня сердце загораться. «Что, думаю, мне за неволя в петлю лезти? Взять да уйти!..» А острог-то, знаешь, за

городом стоит. Дорога тут пролегла широкая. У дороги на травушке роса блестит, хлеба стоят-наливаются, за речкой лесок шумит маленечко... Приволье!.. А назад оглянешься: острог стоит, точно сыч насупившись... Да еще ночью-то, дело, конечно, сонное... А вспомнишь, как тут с зарей день колесом завертится, – просто беда! Сердце не терпит, так вот и подмывает уйти по дороге на простор, да на волюшку...

Однако вспомнил про старика своего... «Неужто, думаю, я его обману?» Лег на траву, в землю уткнулся, полежал маленечко, потом встал, да и повернулся к острогу. Назад не гляну... Подошел поближе, поднял глаза, а в башенке, где у нас были секретные камеры, на окошке мой старик сидит, да на меня из-за решетки смотрит.

Пробрался я днем-то в его камеру, обсказываю все, как, значит, его приказание исполнил. Повеселел он. «Ну, говорит, спасибо тебе, дитятко. Сослужил ты мне службу, век не забуду. А что, парень, – спрашивает после, – на волю-то небось крепко хочется?» А сам смеется. – «Так, говорю, хочется, смерть!» – «То-то, говорит. А за что ты сюда-то попал, за какое качество?»

– Никакого, говорю, качества не было. Так, глупость моя, больше ничего. – Покачал он тут головой. «Эх, говорит, посмотреть на тебя, парень, и то обидно. Эдакую тебе Бог дал силу, и года твои, можно сказать, уж не маленькие, а ты, кроме глупостей этих, ничего не знаешь на свете. Вот сидишь теперь тут... Что толку? На миру, брат, грех, на миру и спа-

сенье...»

– Греха, отвечаю, много.

– А здесь мало, что ли? Да и грехи-то здесь все бестолковые. Мало ли ты здесь нагрешил-то, а каешься ли? – Горько мне, говорю. – «Горько! А о чем – и сам не знаешь. Меесть – это покаяние настоящее. Настоящее покаяние сладко. Слушай, что я тебе скажу, да помни: без греха один Бог, а человек по естеству грешен и спасается покаянием. А покаяние по грехе, а грех на миру. Не согресишь и не покаешься, а не покаешься – не спасешься. Понял ли?»

А я, признаться, в ту пору не совсем его слова понимал, а только слышу, что слова хорошие. Притом и сам уже я ранее думал: какая есть моя жизнь? Все люди – как люди, а я точно и не живу на свете: все равно как трава в поле или бы лесина таёжная. Ни себе, ни другим.

– Это, говорю, верно. На миру хоть и не без греха жить, так по крайности жить, чем этак-то маяться. А только как мне жить, не знаю. Да еще когда из острога-то выпустят.

– Ну, – говорит старик, – это уж мое дело. Молился я о тебе: дано мне извести из темницы душу твою... Обещаешь ли меня слушаться, – укажу тебе путь к покаянию. – «Обещаюсь, говорю». – «И клянешься?» – «И клянусь...» Поклялся я клятвой, потому что в ту пору совсем он завладел мною: в огонь прикажи – в огонь пойду, а в воду, так в воду.

Верил я тому человеку. И стал было мне один арестантик говорить: «Ты, мол, зачем это с Безруким связываешься? Не

гляди, что он живой на небо плянется: руку-то ему купец на разбое пулей прострелил!..» Да я слушать не стал, тем более что и говорил-то он во хмелю, а я пьяных страсть не люблю. Отвернулся я от него, и он тоже осердился: «Пропadaй, говорит, дурья голова!» А надо сказать: справедливый был человек, хоть и пьяница.

В скорости Безрукому облегчение вышло. Перевели его из секретной в общую, с другими прочими вместе. Только и он, как я же, все больше один. Бывало, начнут арестанты приставать, шутки шутить, он хоть бы те слово в ответ. Поведет только глазами, так тут самый отчаянный опешит. Нехорошо смотрел...

Ну, а еще через малое время – и совсем освободился. Гулял я раз, летнее дело, по двору; смотрю, заседатель в контору прошел, потом провели к нему Безрукого. Не прошло полчасика, выходит Безрукой с заседателем на крыльцо, в своей одежде, как есть на волю выправился, веселый. И заседатель тоже смеется. «Вот ведь, думаю, привели человека с каким отягчением, а между прочим, вины за ним не имеется». Жалко мне, признаться, стало, – тоска. Вот, мол, опять один останусь. Только огляделся он по двору, увидел меня и манит к себе пальцем. Подошел я, снял шапку, поклонился начальству, а Безрукой-то и говорит:

– Вот, ваше благородие, нельзя ли этого парня обсудить поскорее? Вины за ним большой нету.

– А как тебя звать-то? – спрашивает заседатель.

– Федором, мол, зовут, Силиным.

– А, говорит, помню. Что ж, это можно. И судить его не надо, потому что за глупость не судят. Вывести за ворота, дать по шее раза, чтоб напредки не в свое место не совался, только и всего. А между прочим, справки-то, кажись, давно у меня получены. Через неделю непременно отпущу его...

– Ну, вот, и отлично, – говорит Безрукой. – А ты, парень, – отозвал он меня к сторонке, – как ослобонишься, ступай на Кильдеевскую заимку, спроси там хозяина Ивана Захарова, я ему о тебе поговорю, дитятко; да клятву-то помни.

И ушли они. А через неделю, точно, и меня на волю отпустили. Вышел я из острога и тотчас отправился в эти вот самые места. Разыскал Ивана Захарова. Так и так, говорю, меня Безрукой прислал. – «Знаю, говорит. Сказывал об тебе старик. Что ж, становись пока в работники ко мне, там увидим». – «А сам-то, мол, Безрукой где же находится?» – «В отлучке, говорит, – по делам он все ездит. Никак скоро будет».

Вот и стал я жить на заимке – работником, не работником, – так, живу, настоящего дела не знаю. Семья у них небольшая была. Сам хозяин, да сын большой, да работник... Я четвертый. Ну, бабы еще, да Безрукой наезжал. Хозяева – люди строгие, староверы, закон соблюдают; табаку, водки – ни-ни! А работник Кузьма – тот у них полоумный какой-то был, лохматый да черный, как эфиоп. Чуть, бывало, колокольчик забрякает, он сейчас, в кусты и захоронит-

ся. А Безрукого-то пуще всех боялся. Издали, бывало, заводит, тотчас бегом в тайгу, и все в одно место прятался. Зовут хозяева, зовут, – не откликается. Пойдет к нему сам Безрукой, слово скажет, он и идет за ним, как овечка, и все опять справляет, как надо.

Наезжал Безрукой на заимку-то не часто и со мной почти-тай что не разговаривал. Беседует, бывало, с хозяином, да на меня смотрит, как я работаю; а подойдешь к нему, – все некогда. «Погоди, говорит, дитятко, уж на заимку перейду, тогда поговорим. Теперь недосуг». А мне тоска. Хозяева, положим, работой не притесняли, пища хорошая, слова дурного не слыхивал. С проезжающими и то посылали редко. Все больше либо сам хозяин, либо сын с работником, особенно ночью. Ну, да мне без работы-то еще того хуже; пуще дума одолевает, места себе не найду...

Прошло никак недель пять, как я из тюрьмы вышел. Приезжаю раз вечером с мельницы; гляжу, народу у нас в избе много... Распрег коня; только хочу на крылец идти – хозяин мне навстречу. «Не ходи, говорит, погоди малость, сам позову. Да слышь! – не ходи, я тебе говорю». Что же, думаю себе, за оказия такая? Повернулся я, пошел к сеновалу. Лег на сено – не спится. Вспомнил, что топор у меня около ручья оставлен. Сходить, думаю: станет народ расходиться, как бы кто не унес. Пошел мимо окон, да как-то и глянул в избу. Вижу: полна изба народу, за столом заседатель сидит: водка перед ним, закуска, перо, бумага, – следствие, одним словом.



А в стороне-то, на лавке, Безрукой сидит. Ах, ты господи!.. Точно меня обухом по голове шибануло!.. Волосы у него на лоб свесились, руки назад связаны, а глаза точно угли... И такой он мне страшный тогда показался, сказать не могу...

Отшатнулся я от окна, отошел к сторонке... Осенью дело это было. Ночь стояла звездная, да темная. Никогда мне, кажется, ночи этой не забыть будет. Речка эта плещется, тайга шумит, а сам я точно во сне. Сел на бережку, на траве, дрожу весь... Господи!

Долго ли, коротко ли сидел, только слышу: кто-то идет из тайги тропочкой мимо, в белом пинжаке, в фуражке, палочкой помахивает. Писарь... верстах в четырех жил. Прошел он по мостику и прямо в избу. Потянуло тут и меня к окну: что будет?

Писарь вошел в двери, снял шапку, смотрит кругом. Сам, видно, не знал, зачем позвали. Потом пошел к столу мимо Безрукого и говорить ему: «Здравствуй, Иван Алексеевич!» Безрукой его так и опалил глазами, а хозяин за рукав дернул, да шепнул что-то. Писарь, видно, удивляется. Подошел к заседателю, а тот уже порядочно выпивши, смотрит на него мутными глазами, точно спросонья. Поздоровались. Заседатель и спрашивает:

– Знаете вы этого человека? – сам в Безрукого пальцем тычет.

Посмотрел писарь, с хозяином переглянулся.

– Нет, говорит, не видывал будто.

Что такое, думаю, за оказия? Ведь и заседатель-то его хорошо знает.

Потом заседатель опять:

– Это не Иван Алексеев, здешний житель, по прозванию Безрукой?

– Нет, – отвечал писарь, – не он.

Взял заседатель перо, написал что-то на бумаге и стал вычитывать. Слушаю я за окном, дивлюсь только. По бумаге-то выходит, что самый этот старик Иван Алексеев не есть Иван Алексеев; что его соседи, а также и писарь не признают за таковое лицо, а сам он именует себя Иваном Ивановым и пачпорт кажет. Вот ведь удивительное дело! Сколько народу было, все руки прикладывали, и ни один его не признал. Правда, и народ тоже подобрали на тот случай! Все эти понятия у Ивана Захарова чуть не кабальные, в долгу.

Кончили это дело, понятых отпустили... Безрукого заседатель развязать велел еще раньше. Иван Захаров выносит деньги, дает заседателю, тот сосчитал, сунул в карман. «Теперь, говорит, тебе, старик, беспрременно месяца на три уехать надо. А не уедешь, – смотри, – на меня не пеняй... Ну, лошадей мне давайте!...»

Отошел я от окна, прошел на сеновал, думаю, сейчас кто-нибудь к лошадям выйдет. Не хотелось мне, чтоб меня под окном-то увидали. Лежу на сене, спать не сплю, а все будто сон вижу, с мыслями не могу собраться... Слышу – проводили заседателя. Побрякал колокольцами, уехал... В доме

все улеглись, огни погасли. Стал было и я дремать, да вдруг это слышу опять: динь, дииь, динь! Колокольчик звенит. А ночь-то тихая-претихая, далеко слышно. И все это ближе, да ближе: из-за реки к нам будто едут. Малое время спустя и в избе колокольчик-то услышали, огонь вздули. Тройка на двор въехала. Знакомый ямщик проезжающих привез, – значит, по дружбе; мы к нему возили, он к нам.

Ну, думаю себе, может, ночевать станут. Да и то: ночью редко меня посылали; больше сам хозяин либо сын да работник. Стал я опять дремать, да вдруг слышу: Безрукой с хозяином тихонько под навесом разговаривают.

– Ну, как же быть? – старик-то говорит. – Да где же Кузьма?

– То-то вот, – хозяин отвечает. – Иван с заседателем уехал, а Кузьма, как народ увидал, так сейчас теку. И в кустах его, слышь, нету. Дурак парень этот. Совсем, кажись, ума решил-ся.

– Ну а Федор? – старик опять спрашивает: это уж про меня.

– Федор, мол, вечер с мельницы приехал, хотел в избу идти, да я не пустил.

– Хорошо, говорит, надо быть спать завалился. Ничего не видал?

– Надо полагать – ничего. Прямо на сеновал ушел.

– Ну, ладно. Пустить его, видно, сегодня в дело...

– Ладно ли будет? – говорит Захаров.

– Ничего, ладно. Парень этот простой, а сила в нем чудесная; и меня слушает, – кругом пальца его оберну. И то сказать: я ведь в самом деле теперича на полгода еду, а парня этого надо к делу приспособить. Без меня дело не обойдется.

– Все же будто сумнительный человек, – говорит Захаров. – Не по уму он мне что-то, даром что дурачком глядит.

– Ну, ну, – старик отвечает. – Знаю я его. Простой парень. Нам этаких и надо. А уж Кузьму как-нибудь сбывать придется. Как бы чего не напрокудил.

Стали меня окликать: Федор, а Федор! А у меня духу нет ответить. Молчу. Полез старик на сеновал, ощупал меня. «Вставай, Федорушка! – говорит, да таково ласково. – Ты, спрашивает, спал ли?» – «Спал, говорю...» – «Ну, говорит, дитятко, вставай, запрягай коней; с проезжающими поедешь. Помнишь ли, в чем клялся?» – «Помню, говорю». А у самого зубы-то щелкают, дрожь по телу идет, холод. – «Может, – говорит старик, – подошло твое время. Слушайся, что я прикажу. А пока – запрягай-ка проворней: проезжающие торопятся...»

Вытащил я из-под навеса телегу, захомутал коренную, стал запрягать, а сердце так и стучит, так и колотится! И все думаю, не сонное ли, мол, все это виденье? В голове суета какая-то, а мыслей нету...

Безрукой, гляжу, тоже коня седлает, а конек у него послушный был, как собачонка. Одною рукой он его седлал. Сел потом на него, сказал ему слово тихонько, конь и пошел

со двора. Запрег я коренную, вышел за ворота, гляжу: Безрукой рысцей уже в тайгу въезжает. Месяц-то хоть не взошел еще, а все же видно маленько. Скрылся он в тайгу, и у меня на сердце-то полегчало.

Подал я лошадей. В избу меня проезжающие позвали – барыня молодая, да трое ребят, мал-мала меньше. Старшему-то четыре годика, а младшей самой девочке года два, не более. И куда только, думаю, тебе горемычной экое место ехать доводится, да еще одной, без мужа? Барыня-то тихая, приветная. Посадила меня за стол, чаем напоила. Спрашивает, какие места, нет ли шалостей? – Не слыхивал, говорю, а сам думаю: ох, родная! боишься ты, видно. Да и как ей, бедной, не бояться: клади с ней много, богато едет, да еще с ребятами; материнское сердце – вещун. Тоже, видно, невольюшка гонит.

Ну, сели, поехали. До свету еще часа два оставалось. Выехали на дорогу, с версту этак проехали; гляжу, пристяжка у меня шарахнулась. Что, думаю, такое тут? Остановил коней, оглядываюсь: Кузьма из кустов ползет на дорогу. Встал обок дороги, смотрит на меня, сам лохмами своими трясет, смеется про себя... Фу ты, окаянная сила! У меня и то кошки по сердцу скребнули, а барыня моя, гляжу, ни жива ни мертва... Ребята спят, сама не спит, мается. На глазах слезы. Плачет... «Боюсь я, говорит, всех вас боюсь...»

– Что ты, говорю, Христос с тобой, милая. Или я душегуб какой?... Да вы почто же ночевать-то не остались?...

– Там-то, говорит, еще того хуже. Прежний ямщик сказал: к ночи в деревню приедем, а сам в глухую тайгу завез, на заимку... У старика-то, – говорит барыня, – пуще всех глаза нехорошие...

Ах ты, господи, думаю, что мне теперича с нею делать? Убивается, бедная.

– Что ж, говорю, теперича, как будете: назад ли вернетесь, или дальше поедет? Хожу я круг ее, – не знаю, как и утешить, потому жалко. А тут еще и лог этот недалече; с проселку на него выезжать приходилось, мимо «Камня». Вот видит она, что и сам я с нею опешил, и засмеялась:

– Ну, садись, говорит, поезжай. Не вернусь я назад: там страшнее... С тобой лучше поеду, потому что лицо у тебя доброе. – Теперь это, братец, люди меня боятся, «убийцем» зовут, а тогда я все одно как младенец был, печати этой каиновой на мне еще не было.

Повеселел и я с нею. Сел на козлы. «Давай, – говорит моя барыня, – станем разговаривать». Спрашивает про меня и про себя рассказывает, едет к мужу. Сосланный муж у нее из богатых. «А ты, говорит, у этих хозяев давно ли живешь; в услужении ли, как ли?» – «В услужении, говорю, недавно нанялся». – «Что, мол, за люди?» – «Люди, говорю, ничего... А впрочем, кто их знает. Строгие... водки не пьют, табаку не курят». – «Это, говорит, пустяки одни, не в этом дело». – «А как же, говорю, жить-то надо?» Вижу я: она хоть баба, да с толком; не скажет ли мне чего путного? «Ты, спраши-

вает, грамотный ли? – „Маленечко, мол, учился“. – „Какая, говорит, большая заповедь в Евангелии?“ – „Большая, мол, заповедь – любовь!“ – „Ну, верно. А еще сказано: больше той любви не бывает, если кто душу готов отдать за други своя! Вот тут и весь закон. Да еще ум, говорит, нужен, – значит, рассудить: где польза, а где пользы нет. А персты эти, да табак там – это одна наружность...“ – „Ну, правда твоя, отвечаю. А все же и строгости маленько не мешает, чтобы человек во всякое время помнил“.

Ну, разговариваем этак, едем себе, не торопясь. К тайге подъехали, к речушке. Перевоз тут. Речка в малую воду узенькая: паром толканешь; он уж и на другой стороне. Перевозчиков и не надо. Ребятки проснулись, продрали глазенки-то, глядят: ночь ночью. Лес это шумит, звезды на небе, луна только перед светом подымается... Ребятам-то и любо... Известное дело – несмысли!

Ну, только, братец, въехали в тайгу, – меня точно по сердцу-то холодом обмахнуло. Гляжу: впереди по тропочке ровно бы кто на вершной бежит<sup>11</sup>. Явственно-то не видно, а так кажется, будто серый конек Безрукого, и топоток слышно. Упало у меня сердце: что, мол, это такое будет? Зачем старик сюда выехал? Да еще клятву мне напомнил ранее... Не к добру... Задумался я... Страх перед стариком разбирает. Прежде я любил его, а с этого вечера бояться стал; как вспомню, какие глаза у него были, так дрожь и пройдет, и

---

<sup>11</sup> На коне, верхом. (Ред.)

пройдет по телу.

Примолк я; думать ничего не думаю и не слышу ничего. Барыня моя слово-другое скажет, – я все молчу. Стихла и она, бедная... Сидит...

Место пошло узкое, темное место. Тайга самая злющая, чернь. А на душе у меня тоже черно, просто сказать – чернее ночи. Сiju, сам не свой. Кони дорогу знают, бегут к „Камню“ этому, – я не правлю. Подъезжаем, – так и есть... Стоит на дороге серый конек, старик на нем сидит, глаза у него, – веришь ли Богу, – как угли... Я и вожжи-то выпустил из рук. Кони вплоть подъехали к серому, стали сами собой. „Федор! – старик говорит, – сойди-ка наземь!“ Сошел я с козел, послушался его, он тоже с седла слезает. Конька-то своего серого поперек дороги перед тройкой поставил. Стоят мои кони, ни один не шелохнется. Я тоже стою, как околдованный. Подошел он ко мне, говорит что-то, за руку взял, ведет к кошовке. Гляжу: в руке у меня топор!..

Иду за ним... и слов у меня супротив его, душегуба, нету, и сил моих нету противиться. „Согреси, говорит, познаешь сладость покаяния...“ Больше не помню. Подошли мы вплоть к кошовушке... Он стал обок. „Начинай, говорит. Сначала бабу-то по лбу!“ – Глянул я тут в кошовку... Господи Боже! Барыня-то моя сидит, как голубка ушибленная, ребятки руками кроет, сама на меня большими глазами смотрит. Сердце у меня повернулось... Ребятки тоже проснулись, глядят, точно пташки. Понимают ли, нет ли...



И точно я с этого взгляду от сна какого прокинулся. Отвел глаза, подымаю топор... А самому страшно: сердце закипает... Посмотрел я на Безрукого, дрогнул он... Понял. Посмотрел я в другой раз: глаза у него зеленые, так и бегают. Поднялась у меня рука, размахнулся... состонать не успел старик, повалился мне в ноги, а я его, братец, мертвого... ногами... Сам зверем стал, прости меня, Господи Боже!..

Рассказчик тяжело перевел дух.

— Что же после? — спросил я, видя, что он замолк и задумался.

— Ась? — откликнулся он. — Да после-то? Очнулся я, смотрю: скачет к нам Иван Захаров на вершной, в руках ружье держит. Подскакал вплоть; я к нему... Лежать бы и ему рядом с Безруким, уж это верно, да, спасибо, сам догадался. Как глянул на меня, — повернул коня, да давай, его ружейным прикладом по бокам нахлестывать. Тут у него меренок человеческим голосом взвыл, право, да как взовьется, что твоя птица!

Опомнился я вовсе... Не гляжу на людей... Сел на козлы, коней хлестнул... ни с места... Глядь, а серый конек все поперек дороги стоит. Я про него и забыл. Вот ведь, дьявол, как был приучен! Перекрестился я. Видно, думаю, и животину дьявольскую тут же уложить придется. Подошел к коньку: стоит он, только ухми прядет. Дернул я за повод, упирается. Ну, говорю, выходи, барыня, из кошовки, как бы не разнесли кони-то с испугу, потому что он вплоть перед ними сто-

ит. Барыня, что твой ребенок послушный, выходит... Ребята повылезли, к матери жмутся. Страшно и им, потому место глухое, темное, а тут еще я с дьяволами с этими вожжаюсь.

Спятил я свою тройку, взял опять топор в руки, подхожу к серому! – Иди, говорю, с дороги, – убью! Повел он ухом одним. Не иду, мол. Ах ты! Потемнело у меня в глазах, волосы под шапкой так и встают... Размахнулся изо всей силы, бряк его по лбу... Скричал он легонько, да и свалился, протянул ноги... Взял я его за ноги, сволок к хозяину и положил рядом, обок дороги. Лежите!..

– Садитесь! – говорю барыне. Посадила она младших-то ребят, а старшенького-то не сдюжает... – „Помоги“, – говорит. Подошел я; мальчонко-то руки ко мне тянет. Только хотел я взять его, да вдруг вспомнил... – Убери, говорю, ребенка-то подальше. Весь я в крови, не гоже младенцу касаться...

Кое-как уселись. Тронул я... Храпят мои кони, не идут... Что тут делать?... Посади-ко, – говорю опять, – младенца на козлы. Посадила она мальчонку, держит его руками. Хлестнул я вожжой – пошли, так и несутся... Вот как теперь же, сам ты видел. От крови бегут...

На утро доставил я барыню в управу, в село. Сам повинился. „Берите меня, я человека убил“. Барыня рассказывает все, как было. „Он меня спас“, – говорит. Связали меня. Уж плакала она, бедная. „За что же, говорит, вы его вяжете? Он доброе дело сделал, моих ребят от злодеев защитил“. Видит, что никто на ее слова внимания не берет, кинулась ко мне,

давай развязывать сама. Тут уж я ее остановил... „Брось, говорю, не твое дело. Теперь уж дело-то людское, да Божье. Виноват ли я, прав ли, – рассудит Бог, да добрые люди...“ – „Да какая же, говорит, может быть вина твоя?“ – „Гордость моя, отвечаю. Через гордость я и к злодеям этим попал самовольно. От миру отбился, людей не слушался, все своим советом поступал. Ан вот он, свой-то совет и довел до душегубства...“

Ну, отступилась, послушалась меня. Стала уезжать, подошла ко мне прощаться, обняла... „Бедный ты!..“ Ребяток обнимать заставляет. „Что ты? – говорю. – Не скверни младенцев. Душегуб ведь я...“ Опасался, признаться, что детки и сами греха моего заботятся. Да нет, поднесла она маленьких, старшенький сам подошел. Как обвился мальчонко вокруг шеи моей ручками, – не выдержал я, заревел... Слезы так и бегут. Добрая же душа у бабы этой!.. Может, за ее добрую душу и с меня Господь греха моего не взыщет...

„Если, – говорит она, – есть на свете сколько-нибудь правды, мы ее для тебя добудем. Век тебя не забуду!“ И точно не забыла. Сам знаешь суды-то наши... волокита одна. Держали бы меня в остроге и по сю пору, да уж она с мужем меня бумагами оттуда добыли.

– А все-таки держали в остроге?

– Держали и даже порядочное время. Главная причина – через деньги. Послала мне барыня денег полтысячи и письмо мне с мужем написали. Как пришли деньги эти, и сейчас

мое дело зашевелилось. Приезжает заседатель, вызвал меня в контору. „Ну, говорит, дело твое у меня. Много ли дашь, я тебя вовсе оправлю?“

Ах ты, думаю, твое благородие!.. За что деньги просит! Суди ты меня строго-настрого, да чтоб я твой закон видел, – я тебе в ноги поклонюсь. А он на-ко! – за деньги...

– Ничего, говорю, не дам. По закону судите, чему я теперича подвержен.

Смеется:

– Дурак ты, я вижу, говорит. По закону твое дело в двух смыслах выходит. Закон на полке лежит, а я, между прочим, – власть. Куда захочу, туда тебя и суну.

– Это, мол, как же так выйдет?

– А так, говорит. Глуп ты! Послушай вот: ты в этом разе барыню-то с ребятами защитил?

– Ну, мол, что дальше-то?

– Ну, защитил. Можно это к добродетели твоей приписать? Вполне, говорит, можно, потому что это доброе дело. Вот тебе один смысл.

– А другой, мол, какой будет?

– Другой-то? А вот какой: посмотри ты на себя, какой ты есть детина. Ведь супротив тебя старик – все одно как ребенок. Он тебя сомущать, а ты бы ему благородным манером ручки-то назад, да к начальству. А ты, не говоря худого слова, бац!.. и свалил. Это надо приписать к твоему самоуправству, потому что этак не полагается. Понял?

– Понял, говорю. Нет у вас правды! Кабы ты мне это без корысти объяснил... так ли, этак ли, – я б тебе в ноги поклонился. А ты вот что... Ничего тебе от меня не будет.

Осердился он.

– Хорошо же, мол. Я тебя, голубчика, пока еще суд да дело, в остроге сгною.

– Ладно, говорю, не грози.

Вот и стал он меня гноить, да, вишь ты, барыня-то не отступилась, нашла ходы. Пришла откуда-то такая бумага, что заседатель мой аж завертелся. Призвал меня в контору, кричал, кричал, а наконец того взял, да в тот же день и отпустил. Вот и вышел я без суда... Сам теперь не знаю. Сказывают люди, будут и у нас суды правильные, вот я и жду: привел бы Бог у присяжных судей обсудиться, как они скажут.

– А что же Иван-то Захаров?

– А Иван Захаров без вести пропал. У них, слышь, с Безруким-то уговор был: ехать Захарову за мной невядалеке. Ежели, значит, я на душегубство согласия не дам, тут бы меня Захарову из ружья стрелять. Да, вишь, Бог-то судил иначе... Прискакал к нам Захаров, а дело-то уж у меня кончено. Он и испужался. Сказывали люди опосля, что прибежал он тогда на заимку и сейчас стал из земли деньги свои копать. Выкопал, да как был, никому не сказавшись, – в тайгу... А на заре взяло заимку огнем. Сам ли как-нибудь заронил, а то, сказывают, Кузьма петуха пустил, неизвестно. Только как полыхнуло на зорьке, к вечеру угольки одни остались.

Пошло все гнездо варваров прахом. Бабы и сейчас по миру ходят, а сын – на каторге. Откупиться-то стало уж нечем.

– Тпру, милые!.. Приехали, слышь, слава-те господи... Вишь ты, и солнышко Божье как раз подымается.

#### **IV. Сибирский вольтеррианец**

Прошло около месяца. Покончив с делами, я опять возвращался в губернский город на почтовых и около полудня приехал на N-скую станцию.

Толстый смотритель стоял на крылечке и дымил сигарой.

– Вам лошадей? – спросил он, не дав мне еще и поздороваться.

– Да, лошадей.

– Нет.

– Э, полноте, Василий Иванович! Я ведь вижу...

Действительно, под навесом стояла тройка в шлеях и хомутах.

Василий Иванович засмеялся.

– Нет, в самом деле, – сказал он затем серьезно. – Вам теперь, вероятно, не к спеху... Пожалуйста, я вас прошу: погодите!

– Да зачем же? Уж не губернатора ли дожидаетесь?

– Губернатора! – засмеялся Василий Иванович. – Куда махнули. И всего-то надворного советника, да уж очень хочется мне этого парня уважить, право... Вы не обижайтесь,

я и вам тоже всею душой. Но ведь я вижу: вам не к спеху, а тут, можно сказать, интерес гуманности, правосудия и даже спасения человечества.

– Да что у вас с правосудием тут? Какие дела завязались?

– А вот погодите, расскажу. Да что же вы здесь стоите?

Заходите в мою хибарку.

Я согласился и последовал за Васильем Ивановичем в его „хибарку“, где за чайным столом нас ждала уже его супруга, полная и чрезвычайно добродушная дама.

– Да, так вы насчет правосудия спрашивали? – заговорил опять Василий Иванович. – Вы фамилию Проскурова слышали?

– Нет, не слышал.

– Да и чего слышать-то, – вмешалась Матрена Ивановна. – Такой же вот озорник, как и мой, и даже в газетах строчит.

– Ну, уж это вы напрасно, вот уж напрасно! – горячо заговорил Василий Иванович. – Проскуров, матушка моя, человек благонадежный, на виду у начальства. Ты еще Угоднику моему свечку должна поставить за то, что муж твой с этими лицами знакомство ведет. Ты что о Проскурове-то думаешь? Какого-нибудь шелопаля сделают разве следователем по особо-важным делам?

– Что вы это мелете? – вступился я. – Какие тут следователи, да еще по особо важным делам?

– То-то и я говорю, – ободрилась Матрена Ивановна. – Врешь ты все, я вижу. Да что я-то, по-твоему, дура набитая,

что ли? Неужто важные-то начальники такие бывают?

– Вот вы у меня Матрену Ивановну и смутили, – укоризненно покачал головой смотритель. – А ведь, в сущности, напрасно. Оно, конечно, по штату такой должности у нас не полагается, но если человек все-таки ее исполняет по особому, так сказать, доверию, то ведь это еще лучше.

– Ничего я тут не понимаю, – сказал я.

– То-то вот. Сами не понимаете, а женщину неопытную смутили! Ну а слышали вы, что у нас есть тут компания одна, вроде как бы на акциях, которая ворочает всеми делами больших дорог и темных ночей?... Неужели и этого не слышали?

– Да, слышал, конечно.

– Ну, то-то. Компания, так сказать, всесловная. Дело ведется на широкую ногу, под девизом: „рука руку моет“, и даже не чуждается некоторой гласности: по крайней мере, все отлично знают о существовании сего товарищества и даже лиц, в нем участвующих, – все, кроме, конечно, превосходительного... Но вот, недавно как-то, после одного блестящего дела, „самого“ осенила внезапная мысль: надо, думает, „искоренить“. Это, положим, бывало и прежде: искореняли сами себя члены компании и все обходилось благополучно. Но на этот раз осенение вышло какое-то удивительное. Очень уж изволили осердиться, да и назначили своего чиновника особых поручений, Проскурова, следователем, с самыми широкими полномочиями по делам не только уже



совершившимся, но и имеющим впредь совершиться, если в них можно подозревать связь с прежними.

– Что же тут удивительного?

– Оно, конечно, Бог умудряет и младенцы. Человек-то попался честный и энергичный, – вот что удивительно! Месяца три уж искореняет: поднял такую возню, не дай господи! Лошадей одних заездили около десятка.

– Что же тут хорошего, особенно для вас?

– Да ведь заездил-то не Проскуров... Этот ездит аккуратно. Земская полиция все за ним на обывательских гоняется. Соревнование, знаете. Стараются попасть ранее на место преступления... для пользы службы, конечно. Ну, да редко им удастся. Проскуров у нас настоящий Лекок. Раз, правда, успели один кончик ловко у него из-под носу вытащить... Огорчили бедного до такой степени, что он даже в официальном рапорте забылся: „старанием, говорит, земских властей приняты были все меры к успешному сокрытию следов преступления“. Ха-ха-ха!

– То-то вот, – сказала Матрена Ивановна, – я и говорю: озорник. Одного с тобой поля ягода-то!..

– Ну, уж не озорник, – возразил Василий Иванович. – Не-ет! А что раз промахнулся, так это и с серьезнейшими людьми бывает. Сам после увидел, что дал маху! Приступили к нему; пришлось бедняге оправдываться опиской... „На предбудущее время, – говорят ему, – таких описок не допускать, под опасением отставки по расстроенному здоровью“.

Чудак! Ха-ха-ха!

– Ну а вы-то тут при чем? – спросил я.

Василий Иванович принял комически-серьезный вид.

– А я, видите ли, содействую. У нас тут, – спросите вот у Матрены Ивановны, – настоящий заговор, тайное сообщество. Он искореняет, а я ему, знаете ли, лошадок всегда наготове держу. Взять хоть сегодня: там, где-то по тракту, убийство, и его человечек к нему с известием поскакал. Ну, значит, и сам искоренитель скоро явится; вот у меня лошади в хомутах, да и на других станках просил приятелей приготовить. Вот оно и выходит, что на скромном смотрительском месте тоже можно человечеству оказывать не маловажные услуги, д-да-с...

Под конец этой тирады веселый смотритель опять не выдержал серьезного тона и захохотал.

– Погодите, – сказал я ему. – Вы смеетесь. Скажите-ка мне серьезно: сами-то вы верите в эту искоренительную миссию или только наблюдаете?

Василий Иванович крепко затянулся сигарой и замолчал.

– Представьте, – сказал он довольно серьезно, – ведь я еще сам не предлагал себе подобного вопроса. Погодите, дайте подумать... Да нет, какая к черту тут миссия! Загремит он скоро кверху тормашками, это верно. А тип, я вам скажу, интереснейший! Да вот вам пример: ведь оказывается, в сущности, что я в успех его дела не верю; иногда смешон мне этот искоренитель до последней крайности, а содействую и

даже, если хотите, Матрена Ивановна права: возбуждаю против себя „настоящее“ начальство. Из-за чего? Да и я ли один? Везде у него есть свои люди... „сочувствующие“. В этом его сила, конечно. Только... странно, что, кажется, никто в его успех не верит. Вот вы слышали: Матрена Ивановна говорит, что „настоящие начальники не такие бывают“. Это отголоски общественного мнения. А между тем, пока этот младенец ломит вперед, „высоко держа знамя“, как говорится в газетах, всякий человек с капелькой души, или просто лично не заинтересованный, старается мимоходом столкнуть с его пути один, другой камешек, чтобы младенец не ушибся. Ну, да это, конечно, не поможет.

– Но почему? При сочувствии населения, в этом случае даже прямо заинтересованного?...

– То-то вот. Сочувствие это какое-то не вполне доброкачественное. Сами вы увидите, может быть, какое это чадло. Прет себе без всякой „политики“ и горюшка мало, что его бука съест. А сторонний человек смотрит и головой качает: „съедят, мол, младенца ни за грош!“ Ну, и жалко. „Погоди-ка, – говорит сторонний человек, – я вот тут тебе дорожку прочищу, а уж дальше съест тебя бука, как пить даст“. А он идет, ничего! Поймите вы, что значит сочувствие, если нет веры в успех дела? Тут, мол, надо начальника настоящего, мудрого, яко змий, чтобы, знаете, этими обходцами ползать умел, величие бы являл, где надо, а где надо – и взяточкой бы не побрезгал, – без этого какой уж и начальник! Ну, то-

гда могла бы явиться и вера: „этот, мол скрутит!“ Только... черт возьми! тогда не было бы сочувствия, потому что все дело объяснялось бы столкновением „начальственных“ интересов... Вот тут и поди!.. Э-эх, сторона наша, сторонушка!.. Давайте-ка лучше чай пить!

Василий Иванович круто оборвал и повернулся на стуле. – Наливай, Матренчик, чаю, – сказал он как-то мягко же-не, слушавшей все время с большим интересом речи супруга. – А прежде, – обратился он ко мне, – не дернуть ли нам по первой?...

Василий Иванович и сам представлял тоже один из интереснейших типов, какие, кажется, встречаются только в Сибири; по крайней мере, в одной Сибири вы найдете такого философа где-нибудь на почтовом станке, в должности смотрителя. Еще если бы Василий Иванович был „из сосланных“, то это было бы неудивительно. Здесь не мало людей, которых колесо фортуны, низвергши с известной высоты; зашвырнуло в места отдаленные и которые здесь начинают вновь карабкаться со ступеньки на ступеньку, внося в эти „низменные“ сферы не совсем обычные в них приемы, образование и культуру. Но Василий Иванович, наоборот, за свое вольнодумство спускался медленно, но верно, с верхних ступеней на нижние. Он относился к этому со спокойствием настоящего философа. Получив под какими-то педагогическими влияниями, тоже нередкими в этой „ссылной стране“, с ранней юности вкусы и склонности интелли-

гентного человека, он дорожил ими всю жизнь, пренебрегая внешними удобствами. Кроме того, в нем сидел художник. Когда Василий Иванович бывал в ударе, его можно было заслушаться до того, что вы забывали и дорогу, и спешное дело. Он сыпал анекдотами, рассказами, картинками; перед вами проходила целая панорама чисто-местных типов своеобразной и забытой реформой страны: все эти заседатели, голодные, беспокойно-юркие и алчные; исправники, отъевшиеся и начинающие ощущать „удовольствие существования“; горные исправники, находящиеся на вершинах благополучия; советники, старшие советники, чиновники „всяких“ поручений... И над всем этим миром, знакомым Василию Ивановичу до мельчайших закоулков, царило благодушие и величие местных юпитеров, с демонстративно-помпадурской грозой и с младенчески-наивным неведением страны, с кругозором петербургских департаментских канцелярий и властью могущественнейших сатрапов. И все это в рассказах Василия Ивановича освещалось тем особенным внутренним чувством, какое кладет истинный художник в изображение интересующего его предмета. А для Василия Ивановича его родина, которую он рисовал такими часто непривлекательными красками, составляла предмет глубоко интересный. Интеллигентный человек, в настоящем смысле этого слова, он с полным правом мог применить к себе стих поэта: „Люблю отчизну я, но странною любовью!“

И он действительно любил ее, хоть эта плохо оцененная любовь и вела его к постепенной, как он выражался, „деградации“. Когда, после одного из крушений, вызванных его обличительным зудом, ему предложили порядочное место в России, он, немного подумав, ответил предлагавшему:

– Нет, батюшка, спасибо вам, но я не могу... Не могу-с! Что мне там делать? Все чужое. Помилуйте, да мне и выругать-то там будет некого.

Вообще, когда мне приходится слышать или читать сравнение Сибири с дореформенною Россией, – сравнение, которое одно время было в таком ходу, – мне всегда приходит на ум одно резкое различие. Различие это воплощается в виде толстой фигуры моего юмориста-приятеля. Дело в том, что у дореформенной России не было соседства России же реформированной, а у Сибири есть это соседство, и оно порождает то ироническое отношение к своей родной действительности, которое вы можете встретить в Сибири даже у людей не особенно интеллигентных. Наш российский Сквозник-Дмухановский, в простоте своей душевной непосредственности, полагал, что „так уж самим Богом установлено, и волтерианцы напрасно против этого вооружаются“... Сибирский же Сквозник видел упразднение своего российского прототипа, видел торжество волтерианцев, и его непосредственность давно уже утрачена. Он рвет и мечет, но в свое провиденциальное назначение не верит. Пойдут одни „веяния“, – он радуется; пойдут другие, – он впадает в уны-

ние и скрежещет. Правда, к отчаянию всегда примешивается частица надежды: „авось, и на этот раз пронесет еще мимо“; зато и ко всякой надежде примешивается горькое сомнение: „надолго ли?“ Ибо „рубят лес за Уралом, а в Сибирь летят щепки“. А тут еще в сторонке стоит свой родной „волтерианец“ во фризовой шинели и улыбается: „что, мол, батюшка, покуда еще Бог грехам терпит, ась?“ – да втихомолку строит корреспонденции в российские бесцензурные издания.

– Кстати, – спросил у меня Василий Иванович, когда после чаю мы закурили сигары, продолжая свою беседу, – вы мне ведь еще не рассказали, что такое случилось с вами, тот раз, в логу?

Я рассказал все уже известное читателю.

Василий Иванович сидел задумчиво, рассматривая кончик нагоревшей сигары.

– Да, – сказал он, – странные люди...

– Вы их знали?

– Как вам сказать? Ну, встречал, и беседовал, и чай, вот, как с вами, пивал. А знать... ну, нет! Заседателей вот или исправников, быть может, по родственности духа, насквозь вижу, а этих понять не могу. Одно только знаю твердо: не одобровать этому Силину, – не теперь, так после покончат с ним непременно.

– Почему вы думаете?

– Да, как же иначе? Происшествие с вами уже не первое. Во всех подобных опасных случаях, когда ни один ямщик не

решился взять, обращаются к этому молодцу, и он никогда не откажется. И заметьте: никогда он не берет с собой никакого оружия. Правда, он всем импонирует. С тех пор, как он уложил Безрукого, его сопровождает какое-то странное обаяние, и он сам, кажется, тоже ему поддается. Но ведь это иллюзия. Поговаривают уж тут разные ребята: „Убивца“, мол, хоть заговоренную пулей, а все же взять можно...» Кажется, упорство, с каким этот Константин производит по нем свои выстрелы, объясняется именно тем, что он запасся такими заговоренными пулями.

## V. «Искоренитель»

Василий Иванович насторожил, среди разговора, свои привычные уши.

– Погодите-ка, – сказал он, – кажется, колокольчик... Должно быть, Проскуров.

И при этом имени Василия Ивановича, очевидно, вновь обуяла его смешливая веселость. Он быстро подбежал к окну.

– Ну, так и есть. Катит наш искоренитель. Посмотрите-ка, посмотрите: ведь это картина. Ха-ха-ха!.. Вот всегда этак ездит. Аккуратнейший мужчина!

Я подошел к окну. Звон колокольчика быстро приближался, но сначала мне видно было только облако пыли, выкатившееся как будто из лесу и бежавшее по дороге к стану. Но вот



дорога, пролежавшая под горой, круто свернула к станции, и в этом месте мы могли видеть ехавших — прямо и очень близко под нами.

Почтовая тройка быстро мчала легонькую таратайку. Из-под копыт разгорячившихся коней летел брызгами щебень и мелкая каменная пыль, но ямщик, наклонившись с облучка, еще погонял и покрикивал. За ямщиком виднелась фигура в форменной фуражке с кокардой и штатском пальто. Хотя на ухабистой дороге таратайку то и дело трясло и подкидывало самым жестоким образом, но господин с кокардой не обращал на это ни малейшего внимания. Он тоже перегнулся, стоя, через облучок и, по-видимому, тщательно следил за каждым движением каждой лошади, контролируя их и следя, чтобы ни одна не отставала. По временам он указывал ямщику, какую, по его мнению, следует подхлестнуть, иногда даже брал у него кнут и старательно, хоть и неумело, подхлестывал сам. От этого занятия, поглощавшего все его внимание, он изредка только отрывался, чтобы взглянуть на часы.

Василий Иванович все время, пока тройка неслась в гору, хохотал, как сумасшедший; но когда колокольчик, забившись отчаянно перед самым крыльцом, вдруг смолк, смотритель сидел уже на кушетке и, как ни в чем не бывало, курил свою сигару.

Несколько секунд со двора слышно было только, как дышат усталые лошади. Но вдруг наша дверь отворилась, и в

комнату вбежал новоприезжий. Это был господин лет тридцати пяти, небольшого роста, с несоразмерно большой головой. Широкое лицо, с выдававшимися несколько скулами, прямыми бровями, слегка вздернутым носом и тонко очерченными губами, было почти прямоугольно и дышало своеобразною энергией. Большие серые глаза смотрели в упор. Вообще, физиономия Проскурова на первый взгляд поражала серьезностью выражения, но впечатление это, после нескольких мгновений, как-то стиралось. Аккуратные чиновничьи «котлетки», обрамлявшие гладко выбритые щеки, прибор на подбородке, какая-то странная торопливость движений тотчас же примешивали к первому впечатлению комизм, который только усиливался от контрастов, совмещавшихся в этой своеобразной фигуре.

Войдя в комнату, Проскуров сначала на мгновение остановился, потом быстро окинул ее взглядом и, увидев Василия Ивановича, тотчас же устремился к нему.

– Господин смотритель!.. Василий Иванович, голубчик... лошадей!.. Лошадей мне, милостивый государь, ради бога, поскорее!

Василий Иванович, развалясь на кушетке, хранил холодно-дипломатический вид.

– Не могу-с... Да вам, кажется, почтовых и не полагается, а земские нужны под заседателя, – он скоро будет.

Проскуров сначала горестно изумился, потом вдруг вспыхнул.

– Что вы, что вы, это? Ведь я прибыл раньше. Нет, позвольте-с... Во-первых, ошибаетесь и насчет почтовых: у меня на всякий случай подорожная... Но, кроме того, на законном основании...

Но Василий Иванович уже смеялся.

– А, черт возьми! Вечно вы с вашими шутками, а мне некогда! – досадливо сказал Проскуров, очевидно, не в первый раз попадавший в эту ловушку. – Скорее, бога ради, у меня тут дело!

– Знаю, убийство...

– Да вы почему знаете? – встревожился Проскуров.

– Почему знаете! – передразнил смотритель. – Да ведь заседатель-то уж там. От него слышал.

– Э, врете вы опять, – просиял Проскуров. – Они-то еще и ухом не повели, а уж у моих, знаете ли, и виновный, то есть собственно... правильнее сказать – подозреваемый, в руках. Это, батюшка, такое дельце выйдет... громчайшее!.. Вот вы посмотрите, как я их тут всех ковырну!

– Ну, уж вы-то ковырнете! Смотрите, не ковырнули бы вас.

Проскуров вдруг встрепнулся. Во дворе забрякали колокольцы.

– Василий Иванович, – заговорил он вдруг каким-то заискивающим тоном, – там, я слышу, запрягают. Это мне, что ли?

При этом он схватил смотрителя за руку и бросил тревож-

ный взгляд в мою сторону.

– Ну, вам, вам... успокойтесь! Да что у вас там в самом-то деле?

– Убийство, батюшка! Опять убийство... Да еще какое! С явными признаками деятельности известной вам шайки. У меня тут нити. Если не ошибаюсь, тут несколько таких хвостиков прищепить можно... Ах, ради бога, поскорее!..

– Сейчас. Да где же это случилось?

– Все в этом же логу проклятом. Взорвать бы это место порохом, право! Ямщика убили...

– Что такое? Уж не ограбление ли почты?

– Э, нет, «вольного».

– «Убивца»? – вскрикнул я, пораженный внезапною догадкой.

Проскуров обернулся ко мне и впился в мое лицо своими большими глазами.

– Д-действительно-с... убитого так звали.

А позвольте спросить: почему это вас так интересует?

– Гм... – промычал Василий Иванович, и в глазах его забегали веселые огоньки. – Допросите-ка его, хорошенько допросите!

– Я встречался с ним ранее.

– Та-ак-с!.. – протянул Василий Иванович. – Встречались... А не было ли у вас вражды или соперничества, не ожидали ли по покойном наследства?

– Да ну вас, с вашими шутками! Что за несносный чело-

век! — досадливо отмахнулся опять Проскуров и обратился ко мне: — Извините, милостивый государь, собственно я во все не имел в виду привлекать вас к делу, но вы понимаете... интересы, так сказать...

— Правосудия и законности, — ввернул опять неисправимый смотритель.

— Одним словом, — продолжал Проскуров, бросив на Василия Ивановича подавляющий взгляд, — я хотел сказать, что внимание к интересам правосудия обязательно для всякого, так сказать, гражданина. И если вы можете сообщить какие-либо сведения, идущие к делу, то... вы понимаете... одним словом, обязаны это сделать.

У меня мелькнуло вдруг смутное соображение.

— Не знаю, — ответил я, — насколько могут способствовать раскрытию дела те сведения, какие я могу доставить. Но я рад бы был, если б они оказались полезны.

— Превосходно! Подобная готовность делает вам честь, милостивый государь. Позвольте узнать, с кем имею удовольствие?

Я назвал.

— Афанасий Иванович Проскуров, — отрекомендовался он в свою очередь. — Вы вот изъявили сейчас готовность содействовать правосудию. Так вот, видите ли, чтоб уж не делать дело вполовину, не согласитесь ли вы, милостивый государь... одним словом... ехать теперь же со мною?

Василий Иванович захохотал.

– Н-ну, уж это... я вам скажу... Это черт знает, что такое! Да вы что, арестовать его, что ли, намерены?

Проскуров быстро и как будто сконфуженно схватил мою руку.

– Не думайте, пожалуйста, – заговорил он. – Помилуйте, какие же основания?...

Я поспешил его успокоить, что мне вовсе не приходило в голову ничего подобного.

– Да и Василий Иванович, конечно, шутит, – добавил я.

– Я рад, что вы меня понимаете. Мне время дорого! Тут всего, знаете ли, два перегона. Дорогой вы мне сообщите, что вам известно. Да, кстати же, я без письмоводителя.

Я не имел причины отказаться.

– Напротив, – сказал я Проскурову, – я сам хотел просить вас взять меня с собою, так как меня лично крайне интересует это дело.

Передо мною, точно живой, встал образ «убийца», с угрюмыми чертами, со страдальческою складкой между бровей, с затаенной думой в глазах. «Скликает воронья на мою головушку, проклятый!» – вспомнилось мне его тоскливое предчувствие. Сердце у меня сжалось. Теперь это воронье кружилось над его угасшими очами в темном логоу, и прежде уже омрачившем его чистую жизнь своею зловещею тенью.

– Эге-ге! – закричал вдруг Василий Иванович, внимательно вглядываясь в окно. – Афанасий Иванович, не можете ли сказать, кто это едет вон там под самым лесом?

Проскуров только взглянул в окно и тотчас же кинулся к выходу.

– Поскорей, ради бога, – кинул он мне на ходу, хватая со стола фуражку.

Я тоже наскоро собрался и вышел. В ту же минуту к ступеням крыльца подкатила ретивая тройка.

Взглянув в сторону леса, я увидел вдали быстро приближавшуюся повозку. Седок привставал иногда и что-то делал над спиной ямщика: виднелись поднимаемые и опускаемые руки. Косвенные лучи вечернего солнца переливались слабыми искорками в пуговицах и погонах.

Проскуров расплачивался с привезшим его ямщиком. Парень осклабился с довольным видом.

– Много довольны, ваше благородие...

– Сказал товарищу, вот ему? – ткнул Проскуров в нового ямщика.

– Знаем, – ответил тот.

– Ну, смотри, – сказал следователь, усаживаясь в повозку. – Приедешь в полтора часа, – получишь рубль, а минутой – понимаешь? – одной только минутой позже...

Тут лошади подхватили с места, и Проскуров поперхнулся, не dokonчив начатой фразы.

## **VI. Евсееч**

До Б. было верст двадцать. Проскуров сначала все посмат-

ривал на часы, сличая расстояние, и по временам тревожно озирался назад. Убедившись, что тройка мчится лихо и погони сзади не видно, он обратился ко мне:

– Ну-с, милостивый государь, что же собственно вам известно по этому делу?

Я рассказал о своем приключении в логу, о предчувствии ямщика, об угрозе, которую послал ему один из грабителей, как мне казалось, – купец. Проскуров не проронил ни одного слова.

– Д-да, – сказал он, когда я кончил. – Все это будет иметь свое значение. Ну-с, а помните ли вы лица этих людей?

– Да, за исключением разве купца.

Проскуров бросил на меня взгляд, исполненный глубокой укоризны.

– Ах, боже мой! – воскликнул он, и в тоне его слышалась горечь разочарования. – Гм... Конечно, вы не виноваты, но его-то именно вам следовало заметить. Жаль, очень жаль... Ну, да все же он не избегнет правосудия.

Менее чем в полтора часа мы были уже на стане. Распорядившись, чтобы поскорей запрягали, Проскуров приказал позвать к себе сотского.

Тотчас же явился мужичок небольшого роста, с жидкой бородкой и плутоватыми глазами. Выражение лица представляло характерную смесь добродушия и лукавства, но в общем впечатление от этой фигуры было приятное и располагало в пользу ее обладателя. Худой зипунишко и вообще



рванная, убогая одежонка не обличали особенного недостатка. Войдя в избу, он поклонился, потом выглянул за дверь, как бы желая убедиться, что никто не подслушивает, и затем подошел ближе. Казалось, в сообществе с Троекуровым он чувствовал себя не совсем ловко и даже как будто в опасности.

– Здравствуй, здравствуй, Евсеич! – сказал чиновник радушно. – Ну что? Птица-то у нас не улетела?

– Пошто улетит? – сказал Евсеич, переминаясь. – Сторожим тоже.

– Пробовал ты с ним заговаривать?... Что говорит?

– Пробовал-то пробова-ал, да, вишь, он разговаривать-то не больно охоч. Перво я к нему было добром, а опосля, признаться, пострашал-таки маленько! «Что, мол, такой-сякой, лежишь ровно статуи? Знаешь, мол, кто я по здешнему месту?» – «А кто?» – спрашивает. – «Да начальство, мол, вот кто... сотский!» – «Этаких, говорит, начальствов мы по морде бивали»... Что ты с ним поделаешь? Отчаянный... Известно, жиган!

– Ну, хорошо, хорошо! – перебил нетерпеливо Проскуров. – Сторожите хорошенько. Я скоро вернусь.

– Не убеет. Да ён, ваше благородие, – надо правду говорить, – смирной... Кою пору все только лежит, да в потолок смотрит. Дрыхнет ли, так ли отлеживается, – шут его знает... Раз только и вставал-то, поест бы, сказывает, охота. Покормил я его маленько, попросил он еще табачку на цыгарку, да опять и залег.

– Ну, и отлично, братец. Я на тебя надеюсь. Если приедет фельдшер, посылай на место.

– Будьте благонадежны. А что я хотел спросить, ваше благородие?...

Евсеич опять подошел к двери и выглянул в сени.

– Ну, что еще? – спросил Проскуров, направлявшийся было к выходу.

– Да, значит, теперича так мы мекаем, – начал Евсеич, политично переминаясь и искоса посматривая на меня, – теперича ежели мужикам на них налегнуть, так в самую бы пору... Миром, значит, или бы сказать: скопом.

– Ну? – сказал Проскуров и нагнул голову, чтобы лучше вслушаться в бессвязное объяснение мужика.

– Да как же, ваше благородие, сами судите! Терпеть не можно стало; ведь беспокойство! Какую теперича силу взяли, и все нипочем... Теперича хоть бы самый этот жиган... Он что такое? Можно сказать – купленный человек; больше ничего, что за деньги... Не он, так другой...

– Справедливо, – поощрил Проскуров, очевидно, сильно заинтересованный. – Ну, продолжай, братец. Ты, я вижу, мужик с головой. Что же дальше?

– Ну, больше ничего, что ежели теперича мужики видели бы себе подмогу... мы бы, может, супротив их осмелились... Мало ли теперича за ними качеств? Мир – великое дело.

– Что ж, помогите вы правосудию, и правосудие вам поможет, – сказал Проскуров не без важности.

– Известно, – произнес Евсеич задумчиво. – Ну, только опять так мы, значит, промежду себя мекаем: ежели, мол, те-перича вам, ваше благородие, супротив начальников не выстоять будет, тут мы должны вовсе пасть и с ребятами. Поэтому – ихняя сила...

Проскуров вздрогнул, точно по нем пробежала электрическая искра, и, быстро схватив фуражку, выбежал вон. Я последовал за ним, оставив Евсеича в той же недоумевающей позе. Он разводил руками и что-то бормотал про себя.

А Проскуров садился в повозку в полном негодовании.

– Вот так всегда! – говорил он. – Все компромиссы, всюду компромиссы... Обеспечь мы успех, тогда они согласны оказать поддержку правосудию... Что вы на это скажете? Ведь это... – это-с – разврат, наконец... Отсутствие сознания долга...

– Если уж вы обратились ко мне с этим вопросом, – сказал я, – то я позволю себе не согласиться с вами. Мне кажется, они вправе требовать от «власти» гарантии успеха правого дела на легальном пути. Иначе в чем же состоит самая идея власти?... Не думаете ли вы, что раз миру воспрещен самосуд, то тем самым взяты известные обязательства? И если они не исполняются, то...

Проскуров живо повернулся в мою сторону и, по-видимому, хотел что-то сказать, но не сказал ничего и глубоко задумался.

Мы отъехали верст шесть, и до лога оставалось не более

трех, когда сзади послышался колокольчик.

– Ага! – сказал Проскуров. – Едет без перепряжки. Ну, да тем лучше: не успеет повидаться с арестованным. Я так и думал.

## VII. Заседатель

Солнце задело багряным краем за черту горизонта, когда мы подъехали к логу. Свету было еще достаточно, хотя в логу залегали уже густые вечерние мороки. Было прохладно и тихо. «Камень» молчаливо стоял над туманами, и над ним подымался полный, хотя еще бледный, месяц. Черная тайга, точно заклтая, дремала недвижимо, не шелохнув ни одной веткой. Тишина нарушалась только звоном колокольчика, который гулко носился в воздухе, отдаваемый эхом ущелья. Сзади слышался такой же звон, только послабее.

У кустов курился дымок. Караульные крестьяне сидели вокруг костра в угрюмом молчании. Увидев нас, они встали и сняли шапки. В сторонке, под холщевым покрывалом, лежало мертвое тело.

– Здравствуйте, братцы! – сказал следователь тихо.

– Здорово, ваше благородие! – отвечали крестьяне.

– Ничего не трогали с места?

– Ничего, будто... Его маленечко обрядили: не хорошо, значит... Скотину не тронули.

– Какую скотину?

– Да ведь как же: Пегашку-то пристрелили же варвары... На вершной покойник-го возвращался.

Действительно, саженьях в тридцати, у дороги, виднелась убитая лошадь.

Проскуров занялся осмотром местности, пригласив с собою и караульных. Я подошел к покойнику и поднял полог с лица.

Мертвенно-бледные черты были спокойны. Потускневшие глаза смотрели вверх, на вечернее небо, и на лице виднелось то особенное выражение недоумения и как будто вопроса, которое смерть оставляет иногда, как последнее движение улетающей жизни... Лицо было чисто, не запятнано кровью.

Через четверть часа Проскуров с крестьянами прошел мимо меня, направляясь к перекрестку. Навстречу им подъезжала задняя повозка.

Из нее вышел немолодой мужчина в полицейской форме и молодой штатский господин, оказавшийся фельдшером.

Заседатель, видимо, сильно устал. Его широкая грудь работала, как кузнечные мехи, и все тучное тело ходило ходунгом под короткую форменную шинелью довольно изящного покроя. Щеки тоже вздувались и опадали, причем нафабранные большие усы то подымались концами и становились перпендикулярно, то опять припадали к ушам. Большие, сероватые с проседью и курчавые волосы были покрыты пылью.

– У-уф, – заговорил он, пыхтя и отдуваясь. – За вами, Афанасий Иванович, не поспеешь. Здравствуйте!

– Мое почтение, – ответил Проскуров холодно. – И напрасно изволили торопиться. Я мог бы и обождать.

– Нет, зачем же-с?... У-уф!... Служба прежде всего-с... Не люблю, знаете ли, когда меня дожидаются. Не в моих правилах-с.

Заседатель говорил сиплым армейским басом, при звуках которого невольно вспоминается запах рому и Жуковского табаку. Глаза его, маленькие, полинявшие, но все еще довольно живые и бойкие, бегали между тем по сторонам, тревожно исследуя обстановку. Они остановились на мне.

– Это мой знакомый, – отрекомендовал меня Проскуров, – г. NN., временно исполняющий обязанности моего письмоводителя.

– Имел удовольствие слышать-с. Очень приятно-с. Отставной штабс-капитан Безрылов.

Безрылов поднес руку к козырьку и молодцевато щелкнул шпорами.

– Отличное. Теперь мы можем приступить к исследованию. Отделаем по-военному, живо, пока еще засветло. Эй, понятые, сюда!..

Караульные крестьяне приблизились к начальству, и все вместе двинулись к мертвому телу. Первым подошел очень развязно Безрылов и сразу отдернул весь полог.

Мы все отшатнулись при виде открывшейся при этом кар-

тины. Вся грудь убитого представляла одну зияющую рану, прорезанную и истыканную в разных направлениях. Невольный ужас охватывал душу при виде этих следов иступленного зверства. Каждая рана была бы смертельна, но было очевидно, что большинство из них нанесены мертвому.

Даже господин Безрылов потерял всю свою развязность. Он стоял неподвижно, держа в руке конец полога. Его щеки побагровели, а концы усов угрожающе торчали, как два копыя.

– Ррак-кальи! – произнес он, наконец, и как-то глубоко вздохнул.

Быть может, в этом вздохе сказалось сожаление о том, что для господина Безрылова нет уже возврата с пути укрывательства и потачек.

Он тихо закрыл полог и обратился к Проскурову, который между тем уставился на него своими упорными глазами.

– Пожалуйста, – попросил заседатель, опуская глаза, – опишем при вскрытии, завтра... Теперь исследуем обстановку и перенесем тело в Б.

– А там произведем допрос арестованному по этому делу, – сказал Проскуров жестко.

Глаза Безрылова забегали, как два затравленные зверька.

– Арестованному? – переспросил он. – У вас есть уже и арестованный?... Как же мне... как же я ничего не знал об этом?

Он был жалок, но тотчас же попытался оправиться.

Кинув быстрый, враждебный взгляд на крестьян и на своего ямщика, он обратился опять к Проскурову:

– Вот и отлично-с. У вас дело кипит в руках... замечательно...

## **VIII. «Иван тридцати восьми лет»**

Около полуночи, отдохнув несколько и напившись чаю, чиновники приступили к следствию.

В довольно просторной комнате, за столом, уставленным письменными принадлежностями, поместился посередине Проскуров. Его несколько комичная подвижность исчезла; он стал серьезен и важен. Справа уселся Безрылов, успевший совершенно оправиться и вновь приобретший свою армейскую развязность. Во время короткого роздыха он умылся, нафабрил усы и взбил свои седоватые кудри. Вообще Безрылов стал бодр и великолепен. Похлебывая густой чай из стоявшего перед ним стакана, он поглядывал на следователя с снисходительной улыбкой. Я уселся на другом конце стола.

– Прикажите ввести арестованного, – сказал Проскуров, подымая глаза от листа бумаги, на котором он быстро писал форму допроса.

Безрылов кивнул только головой, и Евсеич бросился вон из избы.

Через минуту входная дверь отворилась, и в ней резко обрисовалась высокая фигура того самого мужчины, которого



я видел с Костюшкой на перевозе, задумчиво следящим за облаками.

Входя в комнату, он слегка запнулся за порог, оглядел то место, за которое задел, потом вышел на середину и остановился. Его походка была ровна и спокойна. Широкое лицо, с грубоватыми, но довольно правильными чертами, выражало полное равнодушие. Голубые глаза были несколько тусклы и неопределенно смотрели вперед, как будто не видя ближайших предметов. Волосы подстрижены в скобку. На новой ситцевой рубаше виднелись следы крови.

Проскуров передал мне «форму» и, подвинув перо и чернильницу, приступил к обычному опросу.

– Как зовут?

– «Иван тридцати восьми лет».

– Где имеете место жительства?

– Без приюту... в бродяжестве...

– Скажите, Иван тридцати восьми лет, вами ли совершено сего числа убийство ямщика Федора Михайлова?

– Так точно, ваше благородие, моя работа... Что уж, видимое дело...

– Молодец! – одобрил бродягу Безрылов.

– Что ж, ваше благородие, зачем чинить напрасную проволочку?... Не отопрешься.

– А по чьему научению или подговору? – продолжал следователь, когда первые ответы были записаны. – И откуда у вас те пятьдесят рублей тридцать две копейки, которые най-

дены при обыске?

Бродяга вскинул на него своими задумчивыми глазами.

— Ну, уж это, — ответил он, — ты, ваше благородие, лучше оставь! Ты свое дело знаешь, — ну, и я свое тоже знаю... Сам по себе работал, больше ничего... Я, да темная ночь, да тайга-матушка — сам третей!..

Безрылов крикнул и с наслаждением отхлебнул сразу полстакана, кидая на Проскурова насмешливый взгляд. Затем он опять уставился на бродягу, видимо любуясь его образцовою тюремною выправкой, как любитесь служака-офицер на бравого солдата.

Проскуров оставался спокоен. Видно было, что он и не особенно рассчитывал на откровенность бродяги.

— Ну а не желаете ли сказать, — продолжал он свой допрос, — почему вы так зверски изрезали убитого вами Федора Михайлова? Вы имели против покойного личную вражду или ненависть?

Допрашиваемый смотрел на следователя с недоумением.

— Пырнул я его ножиком раз и другой... Более, кажись, не было... Свалился он...

— Десятник, — обратился Проскуров к крестьянину, — возьмите свечу и посветите арестанту. А вы взгляните в ту комнату.

Бродяга все тою же ровною походкой подошел к двери и остановился. Крестьянин, взяв со стола одну свечу, вошел в соседнюю горницу.

Вдруг жиган вздрогнул и отшатнулся. Потом, взглянув с видимым усилием еще раз в том же направлении, он отошел к противоположной стене. Мы все следили за ним в сильнейшем волнении, которое как будто передавалось нам от этой мощной, но теперь сломленной и подавленной фигуры.

Он был бледен. Некоторое время он стоял, опустив голову и опершись плечом о стену. Потом он поднял голову и посмотрел на нас смутным и недоумевающим взглядом.

– Ваше благородие... хрестьяне православные, – заговорил он умоляющим тоном, – не делал я этого... Верьте совести – не делал!.. Со страху нетто, не помню... Да нет, не может этого быть...

Вдруг он оживился. Глаза его в первый раз сверкнули.

– Ваше благородие, – заговорил он решительно, подходя к столу, – пишите: Костюшка это сделал, – Костинкин-рваная ноздря!.. Он, беспрременно он, подлец!.. Никто, как он, человека этак испакостил. Его дело... Все одно: товарищ, не товарищ – знать не хочу!.. Пишите, ваше благородие!..

При этой неожиданной вспышке откровенности Проскуров быстро выхватил у меня перо и бумагу и приготовился записывать сам. Бродяга тяжело и как будто с усилием стал развертывать перед нами мрачную драму.

Он бежал из N-ского острога, где содержался за бродяжество, и некоторое время слонялся без дела, пока судьба не столкнула его, в одном «заведении», с Костюшкой и его товарищами. Тут в первый раз услышал он разговор про по-

койного Михалыча. «„Убивец“, мол, такой человек, его ничем не возьмешь: ни ножом, ни пулей, потому заколдован». – «Пустое дело, господа, – я говорю, – не может этого быть. Всякого человека железом возьмешь». – «А вы, спрашивают, кто такие будете, какого роду-племени?» – «А это, говорю, дело мое. Острог – мне батюшка, а тайга – моя матушка. Тут и род, тут и племя, а что не люблю слушать, когда, например, пустяки этакие говорят... вот что!» Ну, слово за слово, разговорились, приняли они меня в компанию свою, полуштоф поставили, потом Костинкин и говорит: «Ежели вы, говорит, человек благонадежный, то не желаете ли с нами на фарт<sup>12</sup> идти?» – «Пойду», говорю. – «Ладно, мол, нам человек нужен. Днем ли, ночью ли, а уж в логу беспрерывно дело сделать надо, потому что капиталы повезет тут господин из городу большие. Только смотри, говорит, не хвастаешь ли? Ежели с другим ямщиком господин этот поедет, сделаем дело, раздувании честь честью... Ну а ежели „убивец“ опять повезет, – мотри, убегешь». – «Не будет этого, говорю, чтоб я убег». – «Ну, ладно, мол: ежели имеешь в себе такой дух, то будешь счастливый человек, – за „убивца“ можешь себе награду получить большую!...»

– Награду? – переспросил Проскуров. – От, кого же?

– Ты вот что, господин, – сказал бродяга, – ты слушай меня, пока я говорю, а спрашивать будешь после... Ну, признаться сказать, на первый-то раз убег я, испужался. Главная

---

<sup>12</sup> Фарт – по-сибирски – удача, дело, обещающее выгоду. (Прим. автора.)

причина – товарищи выдали. Идет на нас Михалыч, стыдно сказать, с кнутиком, а Костинкин с ружьем в первую голову убежал. Ну, подался и я, сробел... Да он же, подлец, потом первый на смех меня поднял. Язвительный он, Костинкин то есть. «Ладно, говорю, идем опять. Да смотри, Костюша, убегишь ежели, – сам жив от меня не останешься!» – Три дня мы в логу этом прожили, – всё его дожидались. На третий день проехал он под вечер: значит ночью ему назад ворочаться. Изготовились мы; слышим: едет тихонько на вершной. Выпалил Костинкин из ружья, Пегашку свалил. Михалыч кинулся в кусты, как раз на меня... прямо... Стукнуло у меня сердце-то, признаться, да вижу – все одно, мол: либо он, либо я!.. Изловчился, хватить его ножиком, да плохо. Схватил он меня за руку, нож вырвал, самого – об землю. Силен был покойник. Подмял; гляжу – пояс снимает, хочет вязать. А у меня за голенищем другой ножик в запасе. Добыл я его тихонько, повернулся да опять его... под ребро... Состонал он, повернул меня лицом кверху, наклонился, посмотрел в глаза... «А! – говорит, – чуяло мое сердце!.. Ну, теперь ступай с богом, не тирань. Убил ты меня до смерти...» Встал я, гляжу: мается он... хотел было подняться, – не смог. «Прости меня», – говорю. – «Ступай, отвечает, ступай себе... Бог простит ли, а я прощаю...» Я ушел и не подходил более, поверьте совести... Костинкин это, видно, после меня на него набросился...

Бродяга смолк и тяжело опустился на лавку. Проскуров

быстро дописал. Было тихо.

— Теперь, — заговорил опять следователь, — докончите ваше чистосердечное признание. Какой купец был с вами во время первого нападения и от чьего имени Костюшка обещал награду за убийство Федора Михайлова?

Безрылов разочарованно смотрел на ослабевшего бродягу. Но тот вдруг поднялся со скамьи и принял прежний равнодушно-рассеянный вид.

— Будет! — сказал он твердо. — Боле не стану... Довольно!.. Про Костюшку-то все записали?... Ну и ладно, вперед не пакости он! Прикажите, ваше благородие, увести меня, более ничего не скажу.

— Послушайте, Иван тридцати восьми лет, — сказал следователь, — считаю нужным предупредить вас, что чем полнее будет ваше сознание, тем мягче отнесется к вам правосудие. Сообщников же ваших вы все равно не спасете.

Бродяга пожал плечами.

— Это дело не наше. Мне все единственно. — Очевидно, не было надежды добиться от него чего-либо еще. Его вывели.

## IX. Ход

Предстоит допрос свидетелей.

Они столпились кучкой у задней стены. Серая толпа с угрюмыми лицами стояла, переминаясь, в тяжелом молчании. Впереди всех был Евсеич. Лицо его было красно, губы

сжаты, лоб наморщен. Он кидал исподлобья довольно мрачные взгляды, останавливая их то на Безрылове, то на следователе. По всему было видно, что в этой толпе и в Евсеиче, ее представителе, созрело какое-то решение.

Безрылов сидел на лавке, расставив широко ноги и пощелкивая пальцем одной руки по другой. Пока крестьяне входили и занимали места, он смотрел на них внимательно и вдумчиво. Потом, окинув всю толпу холодным, презрительным взглядом, он слегка, почти незаметно, покачал головой и, усмехнувшись, обратился к Проскурову.

– Кстати, Афанасий Иванович, я ведь и забыл поздравить вас с приятною новостью... Уж извините... Все эти хлопоты... Просто из ума вон...

– С чем это? – спросил Проскуров, не отрываясь от чтения протокола.

– Как? – просиял Безрылов. – Значит, вам ничего неизвестно, и я, некоторым образом, первый буду иметь удовольствие сообщить вам это приятное известие? – Очень, очень приятно-с...

Проскуров поднял глаза на заседателя, который между тем подходил к нему, брякая шпорами и обворожительно улыбаясь.

– Вы получаете назначение исправляющим должность казначея в Х-ск... Ну, да это, конечно, одна форма; без сомнения, вы будете утверждены окончательно. Поздравляю, голубчик, – продолжал Безрылов самым задушевным

и благожелательным тоном, завладевая рукой удивленного Проскурова, – поздравляю от всего сердца.

Но Проскуров плохо оценил дружеское поздравление; он быстро отдернул руку и вскочил с места.

– По... позвольте-с, милостивый государь, – заговорил он торопливо и даже заикаясь. – Здесь шутить не место. Н-не место-с!.. Думаете, я не понимаю вашей тактики? Ошибаетесь, милостивый государь. Я не теленок... да-с, милостивый государь, не теленок-с!..

– Что вы, бог с вами, Афанасий Иванович! – изумился Безрылов и даже развел руками и оглянулся, как будто призывая всех присутствующих в свидетели черной неблагодарности Проскурова. – Смею ли я шутить?... Официальное назначение... сам читал бумагу-с... Уверяю вас... Ну, и местечко, я вам скажу! – продолжал он, изменив тон и вновь впадая в дружескую фамильярность. – Теперь уже вам не придется возиться с этими неприятными делами. Даже и настоящее дело нам, несчастным, придется, вероятно, кончать без вашего незаменимого содействия... Жаль, конечно!.. Зато за вас... приятно-с! Место тихое, спокойное... ха-ха-ха!.. как раз... ха-ха-ха!.. по вашему нраву... И притом... от купечества... ха-ха-ха-ха-ха!.. благодарность...

Безрылов как будто перестал стесняться, и его смех, от которого сотрясалась вся его тучная фигура, становился даже неприличен. А Проскуров стоял перед ним точно окаменелый, держась за стол обеими руками. Его лицо сразу как-



то осунулось и пожелтело, и на нем застыло выражение горестного изумления. В эту минуту – увы! – он действительно напоминал... теленка.

Я посмотрел на крестьян. Все они как-то подались головами вперед, только Евсеич стоял, низко нагнув голову, по своему обычаю, и слушал внимательно, не проронив ни одного слова.

Дальнейший допрос не представлял уже в моих глазах ни малейшего интереса. Я вышел в переднюю...

Там, в углу на лавке, сидел жиган. Несколько крестьян-караульных стояли в сторонке. Я подошел к арестованному и сел рядом. Он посмотрел на меня и подвинулся.

– Скажите мне, – спросил я у него, – неужели у вас действительно не было никакой вражды к покойному Михайлову?

Бродяга вскинул на меня своими спокойными голубыми глазами.

– Чего? – переспросил он. – Какая может быть вражда? Нет, не видывал я его ранее.

– Так из-за чего же вы убили? Ведь уж наверное не из-за тех пятидесяти рублей, что при вас найдены?

– Конечно, – произнес он задумчиво. – Нам, при нашей жизни, вдесятеро столько, – и то на неделю хватит, а так, что значит... может ли быть, например, эдакое дело, чтобы вдруг человека железом не взять...

– Неужто из любопытства стоило убивать другого, да и

себе жизнь портить?

Бродяга посмотрел на меня с каким-то удивлением.

– Жизнь, говоришь?... Себе, то есть?... Какая может быть моя жизнь? Вот нынче я Михалыча прикончил, а доведись иначе, может, он бы меня уложил...

– Ну, нет, он не убил бы.

– Твоя правда: мог он убить меня, – сам жив бы остался.

– Тебе его жалко?

Бродяга посмотрел на меня, и взгляд его сверкнул враждой.

– Уйди ты! что тебе надо? – сказал он и потом прибавил, понутив голову: – Такая уж моя линия!..

– Какая?

– А вот такая же... Потому, как мы с измалетства на тюремном положении...

– А Бога ты не боишься?

– Бога-то? – усмехнулся бродяга и потряхнул головой. – Давненько что-то я с Ним, с Богом-то, не считался... А надо бы! Может, еще за Ним сколько-нибудь моего замоленного осталось... Вот что, господин, – сказал он, переменив тон, – ничего этого нам не требуется. Что ты пристал? Говорю тебе: линия такая. Вот теперь я с тобой беседую, как следует быть, аккуратно. А доведись в тайге-матушке или хоть тот раз, в логу, – тут опять разговор был бы иного рода... Потому – линия другая... Эхма!

Он опять встряхнул своими русыми волосами.

– Нет ли, господин, табачку покурить? Страсть курить охота! – заговорил он вдруг как-то развязно; но мне эта развязность показалась фальшивой.

Я дал ему папиросу и вышел на крыльцо. Из-за лесу подымалось уже солнце. С «Камня» над логом снимались ночные туманы и плыли на запад, задевая за верхушки елей и кедров. На траве сверкала роса, а в ближайшее окно виднелись желтые огоньки восковых свечей, поставленных в изголовьи мертвого тела.

*1882 г.*

# Сон Макара

## (Святочный рассказ)

### I

Этот сон видел бедный Макар, который загнал своих телат в далекие, угрюмые страны, – тот самый Макар, на которого, как известно, валятся все шишки.

Его родина – глухая слободка Чалган – затерялась в далекой якутской тайге. Отцы и деды Макара отвоевали у тайги кусок промерзшей землицы, и хотя угрюмая чаща все еще стояла кругом враждебной стеной, они не унывали. По расчищенному месту побежали изгороди, стали скирды и стога, разрастались маленькие дымные юртенки; наконец, точно победное знамя, на холмике из середины поселка выстрелила к небу колокольня. Стал Чалган большой слободой.

Но пока отцы и деды Макара воевали с тайгой, жгли ее огнем, рубили железом, сами они незаметно дичали. Женясь на якутках, они перенимали якутский язык и якутские нравы. Характеристические черты великого русского племени стирались и исчезали.

Как бы то ни было, все же мой Макар твердо помнил, что он коренной чалганский крестьянин. Он здесь родился,

здесь жил, здесь же предполагал умереть. Он очень гордился своим званием и иногда ругал других «погаными якутами», хотя, правду сказать, сам не отличался от якутов ни привычками, ни образом жизни. По-русски он говорил мало и довольно плохо, одевался в звериные шкуры, носил на ногах «торбаса»<sup>13</sup>, питался в обычное время одною лепешкой с настоящим кирпичного чая, а в праздники и в других экстренных случаях съедал топленого масла именно столько, сколько стояло перед ним на столе. Он ездил очень искусно верхом на быках, а в случае болезни призывал шамана, который, беснуясь, со скрежетом кидался на него, стараясь испугать и выгнать из Макара засевшую хворь.

Работал он страшно, жил бедно, терпел голод и холод. Были ли у него какие-нибудь мысли, кроме непрестанных забот о лепешке и чае?

Да, были.

Когда он бывал пьян, он плакал. «Какая наша жизнь, – говорил он, – Господи, Боже!» Кроме того, он говорил иногда, что желал бы все бросить и уйти на «гору». Там он не будет ни пахать, ни сеять, не будет рубить и возить дрова, не будет даже молотить зерно на ручном жернове. Он будет только спасаться. Какая это гора, где она, он точно не знал; знал только, что гора эта есть, во-первых, а во-вторых, что она где-то далеко, – так далеко, что оттуда его нельзя будет добыть самому тойону-исправнику... Податей платить, понятно, он

---

<sup>13</sup> Торбаса – оленье сапоги. (Ред.)

также не будет...

Трезвый он оставлял эти мысли, быть может, сознавая невозможность найти такую чудную гору; но пьяный становился отважнее. Он допускал, что может не найти настоящую гору и попасть на другую. «Тогда пропадать буду», – говорил он, но все-таки собирался; если же не приводил этого намерения в исполнение, то, вероятно, потому, что поселенцы-татары продавали ему всегда скверную водку, настоящую, для крепости, на махорке, от которой он вскоре впадал в бессилие и становился болен.

## II

Дело было в канун Рождества, и Макару было известно, что завтра большой праздник. По этому случаю его томило желание выпить, но выпить было не на что: хлеб был в исходе; Макар уже задолжал у местных купцов и у татар. Между тем завтра большой праздник, работать нельзя, – что же он будет делать, если не напьется? Эта мысль делала его несчастным. Какая его жизнь! Даже в большой зимний праздник он не выпьет одну бутылку водки!

Ему пришла в голову счастливая мысль. Он встал и надел свою рваную соню (шубу). Его жена, крепкая, жилистая, замечательно сильная и столь же замечательно безобразная женщина, знавшая насквозь все его нехитрые помышления, угадала и на этот раз его намерение.

– Куда, дьявол? Опять один водку кушать хочешь?

– Молчи! Куплю одну бутылку. Завтра вместе выпьем.

Он хлопнул ее по плечу так сильно, что она покачнулась, и лукаво подмигнул. Такого женское сердце: она знала, что Макар непременно ее надует, но поддалась обаянию супружеской ласки.

Он вышел, поймал в аласе<sup>14</sup> старого лысанку, привел его за гриву к саням и стал запрягать. Вскоре лысанка вынес своего хозяина за ворота. Тут он остановился и, повернув голову, вопросительно поглядел на погруженного в задумчивость Макара. Тогда Макар дернул левою вожжей и направил коня на край слободы.

На самом краю слободы стояла небольшая юрtenка. Из нее, как и из других юрт, поднимался высоко, высоко дым камелька, застилая белую, волнующуюся массой холодные звезды и яркий месяц. Огонь весело переливался, отсвечивая сквозь матовые льдины. На дворе было тихо.

Здесь жили чужие, дальние люди. Как попали они сюда, какая непогода кинула их в далекие дебри, Макар не знал и не интересовался, но он любил вести с ними дела, так как они его не прижимали и не очень стояли за плату.

Войдя в юрту, Макар тотчас же подошел к камельку и протянул к огню свои иззябшие руки.

– Ча! – сказал он, выражая тем ощущение холода.

Чужие люди были дома. На столе горела свеча, хотя они

---

<sup>14</sup> Алас – луг, поляна. (Ред.)

ничего не работали. Один лежал на постели и, пуская кольца дыма, задумчиво следил за его завитками, видимо, связывая с ними длинные нити собственных дум. Другой сидел против камелька и тоже вдумчиво следил, как перебегали огни по нагоревшему дереву.

– Здорово, – сказал Макар, чтобы прервать тяготившее его молчание.

Конечно, он не знал, какое горе лежало на сердце чужих людей, какие воспоминания теснились в их головах в этот вечер, какие образы чудились им в фантастических переливах огня и дыма. К тому же у него была своя забота.

Молодой человек, сидевший у камелька, поднял голову и посмотрел на Макара смутным взглядом, как будто не узнавая его. Потом он тряхнул головой и быстро поднялся со стула.

– А, здорово, здорово, Макар! Вот и отлично. Напьешься с нами чаю?

Макару предложение понравилось.

– Чаю? – переспросил он. – Это хорошо!.. Вот, брат, хорошо... Отлично!

Он стал живо разоблачаться. Сняв шубу и шапку, он почувствовал себя развязнее, а увидав, что в самоваре запылали уже горячие угли, обратился к молодому человеку с излиянием:

– Я вас люблю, верно!.. Так люблю, так люблю... Ночи не сплю...



Чужой человек повернулся, и на лице его появилась горькая улыбка.

— А, любишь? — сказал он. — Что же тебе надо?

Макар замялся.

— Есть дело, — ответил он. — Да ты почем узнал?... Ладно. Ужо, чай выпью, скажу.

Так как чай был предложен Макару самими хозяевами, то он счел уместным пойти далее.

— Нет ли жареного? Я люблю, — сказал он.

— Нет.

— Ну, ничего, — сказал Макар успокоительным тоном, — съем в другой раз... Верно? — переспросил он. — В другой раз?

— Ладно.

Теперь Макар считал за чужими людьми в долгу кусок жареного мяса, а у него подобные долги никогда не пропадали.

Через час он опять сел в свои дровни. Он добыл целый рубль, продав вперед пять возов дров на сходных сравнительно условиях, правда, он клялся и божился, что не пропьет этих денег сегодня, а сам намеревался это сделать немедленно. Но что за дело? Предстоящее удовольствие заглушало укоры совести. Он не думал даже о том, что пьяному ему предстоит жестокая трепка от обманутой верной супруги.

— Куда же ты, Макар, — крикнул, смеясь, чужой человек, видя, что лошадь Макара, вместо того чтобы ехать прямо,

свернула влево, по направлению к татарам.

– Тпру-у!.. Тпру-у!.. Видишь, конь проклятый какой... куда едет! – оправдывался Макар, все-таки крепко натягивая левую вожжу и незаметно подхлестывая лысанку правой.

Умный конек, помахивая укоризненно хвостом, тихо поковылял в требуемом направлении, и вскоре скрип Макаровых полозьев затих у татарских ворот.

### III

У татарских ворот стояли на привязи несколько коней с высокими якутскими седлами.

В тесной избе было душно. Резкий дым махорки стоял целой тучей, медленно вытягиваемый камельком. За столами и на скамейках сидели приезжие якуты; на столах стояли чашки с водкой; кое-где помещались кучки играющих в карты. Лица были потны и красны. Глаза игроков дико следили за картами. Деньги вынимались и тотчас же прятались по карманам. В углу, на соломе, пьяный якут покачивался, сидя, и тянул бесконечную песню. Он выводил горлом дикие, скрипучие звуки, повторяя на разные лады, что завтра большой праздник, а сегодня он пьян.

Макар отдал деньги, и ему дали бутылку. Он сунул ее за пазуху и незаметно для других отошел в темный угол. Там он наливал чашку за чашкой и тянул их одна за другою. Водка была горькая, разведенная, по случаю праздника, водой бо-

лее, чем на три четверти. Зато махорки, видимо, не жалели. У Макара каждый раз захватывало на минуту дыхание, и в глазах ходили какие-то багровые круги.

Вскоре он опьянел. Он тоже опустился на солому и, обхватив руками колени, положил на них отяжелевшую голову. Из его горла сами собой полились те же нелепые скрипучие звуки. Он пел, что завтра праздник и что он выпил пять возов дров.

Между тем в избе становилось все теснее и теснее. Входили новые посетители – якуты, приехавшие молиться и пить татарскую водку. Хозяин увидел, что скоро не хватит всем места. Он встал из-за стола и окинул взглядом собрание. Взгляд этот проник в темный угол и увидел там якута и Макара.

Он подошел к якуту и, взяв его за шиворот, вышвырнул вон из избы. Потом подошел к Макару. Ему, как местному жителю, татарин оказал больше почета: широко отворив двери, он поддал бедняге сзади ногою такого леща, что Макар вылетел из избы и ткнулся носом прямо в сугроб снега.

Трудно сказать, был ли он оскорблен подобным обращением. Он чувствовал, что в рукавах у него снег, снег на лице. Кое-как выбравшись из сугроба, он поплелся к своему лысанке.

Луна поднялась уже высоко. Большая Медведица стала опускать хвост книзу. Мороз крепчал. По временам, на севере, из-за темного полукруглого облака, вставали, слабо иг-

рая, огненные столбы начинавшегося северного сияния.

Лысанка, видимо, понимавший положение хозяина, осторожно и разумно поплелся к дому. Макар сидел на дровнях, покачиваясь, и продолжал свою песню. Он пел, что выпил пять возов дров и что старуха будет его колотить. Звуки, вырывавшиеся из его горла, скрипели и стонали в вечернем воздухе так уныло и жалобно, что у чужого человека, который в это время взобрался на юрту, чтобы закрыть трубу камелька, стало от Макаровой песни еще тяжелее на сердце. Между тем лысанка вынес дровни на холмик, откуда видны были окрестности. Снега ярко блестели, облитые лунным сиянием. Временами свет луны как будто таял, снега темнели, и тотчас же на них переливался отблеск северного сияния. Тогда казалось, что снежные холмы и тайга на них то приближались, то опять удалялись. Макару ясно виднелась под самую тайгой снежная плешь Ямалахского холмика, за которым в тайге у него поставлены были ловушки для всякого лесного зверя и птицы.

Это изменило ход его мыслей. Он запел, что в ловушку его попала лисица. Он продаст завтра шкуру, и старуха не станет его колотить.

В морозном воздухе раздался первый удар колокола, когда Макар вошел в избу. Он первым словом сообщил старухе, что у них в плашку попала лисица. Он совсем забыл, что старуха не пила вместе с ним водки, и был сильно удивлен, когда, не взирая на радостное известие, она немедленно на-

несла ему ногою жестокий удар пониже спины. Затем, пока он повалился на постель, она еще успела толкнуть его кулаком в шею.

Над Чалганом между тем несли, разливаясь далеко, далеко, торжественный праздничный звон...

## IV

Он лежал на постели. Голова у него горела. Внутри жгло, точно огнем. По жилам разливалась крепкая смесь водки и табачного настоя. По лицу текли холодные струйки талого снега; такие же струйки стекали и по спине.

Старуха думала, что он спит. Но он не спал. Из головы у него не шла лисица. Он успел вполне убедиться, что она попала в ловушку; он даже знал, в которую именно. Он ее видел, — видел, как она, прищемленная тяжелой плахой, роет снег когтями и старается вырваться. Лучи луны, продираясь сквозь чащу, играли на золотой шерсти. Глаза зверя сверкали ему навстречу.

Он не выдержал и, встав с постели, направился к своему верному лысанке, чтобы ехать в тайгу.

Что это? Неужели сильные руки старухи схватили за воротник его соны, и он опять брошен на постель?

Нет, вот он уже за слободою. Полозья ровно поскрипывали по крепкому снегу. Чалган остался сзади. Сзади несется торжественный гул церковного колокола, а над темною чер-

той горизонта, на светлом небе мелькают черными силуэтами вереницы якутских всадников, в высоких остроконечных шапках. Якуты спешат в церковь.

Между тем луна опустилась, а вверху, в самом зените, стало белесоватое облачко и засияло переливчатым фосфорическим блеском. Потом оно как будто разорвалось, растянулось, прыснуло, и от него быстро потянулись в разные стороны полосы разноцветных огней, между тем как полукруглое темное облачко на севере еще более потемнело. Оно стало черно, чернее тайги, к которой приближался Макар.

Дорога вилась между мелкою, частою порослью. Направо и налево подымались холмы. Чем далее, тем выше становились деревья. Тайга густела. Она стояла безмолвная и полная тайны. Голые деревья лиственниц были опушены серебряным инеем. Мягкий свет сполоха, продираясь сквозь их вершины, ходил по ней, кое-где открывая то снежную полянку, то лежащие трупы разбитых лесных гигантов, запущенных снегом... Мгновение – и все опять тонуло во мраке, полном молчания и тайны.

Макар остановился. В этом месте, почти на самую дорогу, выдвигалось начало целой системы ловушек. При фосфорическом свете ему была ясно видна невысокая городьба из валежника; он видел даже первую плаху – три тяжелые длинные бревна, упертые на отвесном колу и поддерживаемые довольно хитрою системой рычагов с волосяными веревочками.

Правда, это были чужие ловушки; но ведь лисица могла попасть и в чужие. Макар торопливо сошел с дровней, оставил умного лысанку на дороге и чутко прислушался.

В тайге ни звука. Только из далекой, невидной теперь слободы неся по-прежнему торжественный звон.

Можно было не опасаться. Владелец ловушек, Алешка чалганец, сосед и кровный враг Макара, наверное, был теперь в церкви. Не было видно ни одного следа на ровной поверхности недавно выпавшего снега.

Он пустился в чащу – ничего. Под ногами хрустит снег. Плахи стоят рядами, точно ряды пушек с открытыми жерлами, в безмолвном ожидании.

Он прошел взад и вперед – напрасно. Он направился опять на дорогу.

Но, чу!.. Легкий шорох... В тайге мелькнула красноватая шерсть, на этот раз в освещенном месте, так близко!.. Макар ясно видел острые уши лисицы; ее пушистый хвост вилял из стороны в сторону, как будто заманивая Макара в чащу. Она исчезла между стволами, в направлении Макаровых ловушек, и вскоре по лесу пронесся глухой, но сильный удар. Он прозвучал сначала отрывисто, глухо, потом как будто отдался под навесом тайги и тихо замер в далеком овраге.

Сердце Макара забилося. Это упала плаха.

Он бросился, пробираясь сквозь чащу. Холодные ветви били его по глазам, сыпали в лицо снегом. Он спотыкался; у него захватывало дыхание.

Вот он выбежал на просеку, которую некогда сам прорубил. Деревья, белые от инея, стояли по обеим сторонам, а внизу, суживаясь, маячила дорожка, и в конце ее насторожилось жерло большой плахи... Недалеко...

Но вот, на дорожке, около плахи, мелькнула фигура, – мелькнула и скрылась. Макар узнал чалганца Алешку; ему ясно была видна его небольшая, коренастая фигура, согнутая вперед, с походкой медведя. Макару казалось, что темное лицо Алешки стало еще темнее, а большие зубы оскалились еще более, чем обыкновенно.

Макар чувствовал искреннее негодование. «Вот подлец!.. Он ходит по моим ловушкам». Правда, Макар и сам сейчас только прошел по плахам Алешки, но тут была разница... Разница состояла именно в том, что, когда он сам ходил по чужим ловушкам, он чувствовал страх быть застигнутым; когда же по его плахам ходили другие, он чувствовал негодование и желание самому настигнуть нарушителя его прав.

Он бросился наперерез к упавшей плахе. Там была лисица. Алешка своею развалистою, медвежьей походкой направлялся туда же. Надо было поспевать ранее.

Вот и лежащая плаха. Под нею краснеет шерсть прихлопнутого зверя. Лисица рылась в снегу когтями именно так, как она ему виделась прежде, и так же смотрела ему навстречу своими острыми, горящими глазами.

– *Тытыма* (не тронь)!.. Это мое! – крикнул Макар Алешке.



– *Тытыма!* – отдался, точно эхо, голос Алешки. – Мое!

Они оба подбежали в одно время и торопливо, наперебой, стали подымать плаху, освобождая из-под нее зверя. Когда плаха была приподнята, лисица поднялась также. Она сделала прыжок, потом остановилась, посмотрела на обоих чалганцев каким-то насмешливым взглядом, потом, загнув морду, лизнула прищемленное бревном место и весело побежала вперед, приветливо виляя хвостом.

Алешка бросился было за нею, но Макар схватил его сзади за полу соны.

– *Тытыма!* – крикнул он. – Это мое! – и сам побежал вслед за лисицей.

– *Тытыма!* – опять эхом отдался голос Алешки, и Макар почувствовал, что тот схватил его в свою очередь за сону и в одну секунду опять выбежал вперед.

Макар обозлился. Он забыл про лисицу и устремился за Алешкой.

Они бежали все быстрее. Ветка лиственницы сдернула шапку с головы Алешки, но тому некогда было подымать ее: Макар уже настигал его с яростным криком. Но Алешка всегда был хитрее бедного Макара. Он вдруг остановился, повернулся и нагнул голову. Макар ударился в нее животом и кувыркнулся в снег. Пока он падал, проклятый Алешка схватил с головы Макара шапку и скрылся в тайге.

Макар медленно поднялся. Он чувствовал себя окончательно побитым и несчастным. Нравственное состояние бы-

ло отвратительно. Лисица была в руках, а теперь... Ему казалось, что в потемневшей чаще она насмешливо вильнула еще раз хвостом и окончательно скрылась.

Потемнело. Белесоватое облачко чуть-чуть виднелось в зените. Оно как будто тихо таяло, и от него как-то устало и томно лились еще замиравшие лучи сияния.

По разгоряченному телу Макара бежали целые потоки острых струек талого снега. Снег попал ему в рукава, за воротник соны, стекал по спине, лился за торбаса. Проклятый Алешка унес с собой его шапку. Рукавицы он потерял где-то на бегу. Дело было плохо. Макар знал, что лютый мороз не шутит с людьми, которые уходят в тайгу без рукавиц и без шапки.

Он шел уже долго. По его расчетам, он давно должен бы уже выйти из Ямалаха и увидеть колокольню, но он все кружил по тайге. Чаша, точно заколдованная, держала его в своих объятиях. Издали доносился все тот же торжественный звон. Макару казалось, что он идет на него, но звон все удалялся, и, по мере того как его переливы доносились все тише и тише, в сердце Макара вступало тупое отчаяние.

Он устал. Он был подавлен. Ноги подкашивались. Его избитое тело ныло тупою болью. Дыхание в груди захватывало. Руки и ноги коченели. Обнаженную голову стягивало точно раскаленными обручами.

«Пропадать буду, однако!» – все чаще и чаще мелькало у него в голове. Но он все шел.

Тайга молчала. Она только смыкалась за ним с каким-то враждебным упорством и нигде не давала ни просвета, ни надежды.

«Пропадать буду, однако!» – все думал Макар.

Он совсем ослаб. Теперь молодые деревья прямо, без всяких стеснений, били его по лицу, издеваясь над его беспомощным положением. В одном месте на прогалину выбежал белый *ушкан* (заяц), сел на задние лапки, повел длинными ушами с черными отметинками на концах и стал умываться, делая Макару самые дерзкие рожи. Он давал ему понять, что он отлично знает его, Макара, – знает, что он и есть тот самый Макар, который настроил в тайге хитрые машины для его, зайца, гибели. Но теперь он над ним издевался.

Макару стало горько. Между тем тайга все оживлялась, но оживлялась враждебно. Теперь даже дальние деревья протягивали длинные ветви на его дорожку и хватали его за волосы, били по глазам, по лицу. Тетерева выходили из тайных логовищ и уставлялись в него любопытными круглыми глазами, а косачи бегали между ними с распущенными хвостами и сердито оттопыренными крыльями и громко рассказывали самкам про него, Макара, и про его козни. Наконец, в дальних чащах замелькали тысячи лисих морд. Они тянули воздух и насмешливо смотрели на Макара, поводя острыми ушами. А зайцы становились перед ними на задние лапки и хохотали, докладывая, что Макар заблудился и не выйдет из тайги.

Это было уже слишком.

«Пропадать буду!» – подумал Макар и решил сделать это немедленно.

Он лег в снег.

Мороз крепчал. Последние переливы сияния слабо мерцали и тянулись по небу, заглядывая к Макару сквозь вершины тайги. Последние отголоски колокола доносились с далекого Чалгана.

Сияние полыхнуло и погасло. Звон стих.

И Макар умер.

## V

Как это случилось, он не заметил. Он знал, что из него должно что-то выйти, и ждал, что вот-вот оно выйдет... Но ничего не выходило.

Между тем он сознавал, что уже умер, и потому лежал смирно, без движения. Лежал он долго – так долго, что ему надоело.

Было совершенно темно, когда Макар почувствовал, что его кто-то толкнул ногою. Он повернул голову и открыл сомкнутые глаза.

Теперь лиственницы стояли над ним смиренные, тихие, точно стыдясь прежних проказ. Мохнатые ели вытягивали свои широкие, покрытые снегом, лапы и тихо, тихо качались. В воздухе так же тихо садились лучистые снежинки.

Яркие добрые звезды заглядывали с синего неба сквозь частые ветви и как будто говорили: «Вот, видите, бедный человек умер».

Над самым телом Макара, толкая его ногою, стоял старый попик Иван. Его длинная ряса была покрыта снегом; снег виднелся на меховом *бергесе* (шапке), на плечах, в длинной бороде попа Ивана. Всего удивительнее было то обстоятельство, что это был тот самый попик Иван, который умер назад тому четыре года.

Это был добрый попик. Он никогда не притеснял Макара насчет руги<sup>15</sup>, никогда не требовал даже денег за требы. Макар сам назначал ему плату за крестины и за молебны и теперь со стыдом вспомнил, что иногда платил маловато, а порой не платил вовсе. Поп Иван и не обижался; ему требовалось одно: всякий раз надо было поставить бутылку водки. Если у Макара не было денег, поп Иван сам посылал за бутылкой, и они пили вместе. Попик напивался непременно до положения риз, но при этом дрался очень редко и не сильно. Макар доставлял его, беспомощного и беззащитного, домой на попечение матушки-попадьи.

Да, это был добрый попик, но умер он нехорошою смертью. Однажды, когда все вышли из дому и пьяный попик остался один лежать на постели, ему вздумалось покурить. Он встал и, шатаясь, подошел к огромному, жарко натопленному камельку, чтобы закурить у огня трубку. Он был слиш-

---

<sup>15</sup> Руга – плата священнику и причту от прихожан. (Ред.)

ком уж пьян, покачнулся и упал в огонь. Когда пришли домочадцы, от попа остались лишь ноги.

Все жалели доброго попа Ивана; но так как от него остались одни только ноги, то вылечить его не мог уже ни один доктор в мире. Ноги похоронили, а на место попа Ивана назначили другого.

Теперь этот попик, в целом виде, стоял над Макаром и поталкивал его ногою.

– Вставай, Макарушко, – говорил он. – Пойдем-ка.

– Куда я пойду? – спросил Макар с неудовольствием.

Он полагал, что раз он «пропал», его обязанность – лежать спокойно и ему нет надобности идти опять по тайге, бродя без дороги. Иначе зачем было ему пропадать?

– Пойдем к *большому Тойону*<sup>16</sup>.

– Зачем я пойду к нему? – спросил Макар.

– Он будет тебя судить, – сказал попик скорбным и несколько умиленным голосом.

Макар вспомнил, что действительно после смерти надо идти куда-то на суд. Он это слышал когда-то в церкви. Значит, попик был прав. Приходилось подняться.

И Макар поднялся, ворча про себя, что даже после смерти не дают человеку покоя.

Попик шел впереди, Макар за ним. Шли они все прямо. Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу. Шли на восток.

---

<sup>16</sup> Тойон – господин, хозяин, начальник. (Прим. автора.)

Макар с удивлением заметил, что после попа Ивана не остается следов на снегу. Взглянув себе под ноги, он также не увидел следов: снег был чист и гладок, как скатерть.

Он подумал, что теперь ему очень удобно ходить по чужим ловушкам, так как никто об этом не может узнать; но попик, угадавший, очевидно, его сокровенную мысль, повернулся к нему и сказал:

– *Кабысь* (брось, оставь)! Ты не знаешь, что тебе достанется за каждую подобную мысль.

– Ну, ну! – ответил недовольно Макар. – Уж нельзя и подумать! Что ты нынче такой стал строгий? Молчи ужю!..

Попик покачал головой и пошел дальше.

– Далеко ли идти? – спросил Макар.

– Далеко, – ответил попик сокрушенно.

– А чего будем есть? – спросил опять Макар с беспокойством.

– Ты забыл, – ответил попик, повернувшись к нему, – что ты умер и что теперь тебе не надо ни есть, ни пить.

Макару это не очень понравилось. Конечно, это хорошо в том случае, когда нечего есть, но тогда уж надо бы лежать так, как он лежал тотчас после своей смерти. А идти, да еще идти далеко, и не есть ничего, эго казалось ему ни с чем не сообразным. Он опять заворчал.

– Не ропщи! – сказал попик.

– Ладно! – ответил Макар обиженным тоном, но сам продолжал жаловаться про себя и ворчать на дурные порядки:

«Человека заставляют ходить, а есть ему не надо! Где это слыхано?»

Он был недоволен все время, следуя за попом. А шли они, по-видимому, долго. Правда, Макар не видел еще рассвета, но, судя по пространству, ему казалось, что они шли уже целую неделю: так много они оставили за собой падей и сопкок<sup>17</sup>, рек и озер, так много прошли они лесов и равнин. Когда Макар оглядывался, ему казалось, что темная тайга сама убегает от них назад, а высокие снежные горы точно таяли в сумраке ночи и быстро скрывались за горизонтом.

Они как будто поднимались все выше. Звезды становились все больше и ярче. Потом из-за гребня возвышенности, на которую они поднялись, показался краешек давно закатившейся луны. Она как будто торопилась уйти, но Макар с попиком ее нагоняли. Наконец, она вновь стала подниматься над горизонтом. Они пошли по ровному, сильно приподнятому месту.

Теперь стало светло – гораздо светлее, чем при начале ночи. Это происходило, конечно, оттого, что они были гораздо ближе к звездам. Звезды, величиною каждая с яблоко, так и сверкали, а луна, точно дно большой золотой бочки, сияла, как солнце, освещая равнину от края и до края.

На равнине совершенно явственно виднелась каждая снежинка. По ней пролегало множество дорог, и все они сходи-

---

<sup>17</sup> Падь – ущелье, овраг между горами; сопка – остроконечная гора. (Прим. автора.)



лись к одному месту на востоке. По дорогам шли и ехали люди в разных одеждах и разного вида.

Вдруг Макар, внимательно всматривавшийся в одного всадника, свернул с дороги и побежал за ним.

– Постой, постой! – кричал попик, но Макар даже не слышал. Он узнал знакомого татарина, который шесть лет назад увел у него пегого коня, а пять лет назад скончался. Теперь татарин ехал на том же пегом коне. Конь так и взвивался. Из-под копыт его летели целые тучи снежной пыли, сверкавшей разноцветными переливами звездных лучей. Макар удивился, при виде этой бешеной скачки, как мог он, пеший, так легко догнать конного татарина. Впрочем, завидев Макара в нескольких шагах, татарин с большой готовностью остановился. Макар запальчиво напал на него.

– Пойдем к старосте, – кричал он. – Это мой конь. Правое ухо у него разрезано... Смотри, какой ловкий!.. Едет на чужом коне, а хозяин идет пешком, точно нищий.

– Постой! – сказал на это татарин. – Не надо к старосте. Твой конь, говоришь?... Ну, и бери его! Проклятая животина! Пятый год еду на ней, и все как будто ни с места... Пешие люди то и дело обгоняют меня; хорошему татарину даже стыдно.

И он занес ногу, чтобы сойти с седла, но в это время запыхавшийся попик подбежал к ним и схватил Макара за руку.

– Несчастный! – вскричал он. – Что ты делаешь? Разве не видишь, что татарин хочет тебя обмануть?

– Конечно, обманывает, – вскричал Макар, размахивая руками. – Конь был хороший, настоящая хозяйская лошадь... Мне давали за нее сорок рублей еще по третьей траве... Не-ет, брат! Если ты испортил коня, я его зарезу на мясо, а ты заплатишь мне чистыми деньгами. Думаешь, что – татарин, так и нет на тебя управы?

Макар горячился и кричал нарочно, чтобы собрать вокруг себя побольше народу, так как он привык бояться татар. Но попик остановил его.

– Тише, тише, Макар! Ты все забываешь, что ты уже умер... Зачем тебе конь? Да притом разве ты не видишь, что пешком ты подвигаешься гораздо быстрее татарина? Хочешь, чтоб тебе пришлось ехать целых тысячу лет?

Макар смекнул, почему татарин так охотно уступал ему лошадь.

«Хитрый народ!» – подумал он и обратился к татарину:

– Ладно ужó! Поезжай на коне, а я, брат, сделаю на тебя прошение.

Татарин сердито нахлобучил шапку и хлестнул коня. Конь взвился, клубы снега посыпались из-под копыт, но, пока Макар с попом не тронулись, татарин не уехал от них и пяди.

Он сердито плюнул и обратился к Макару:

– Послушай, *догор* (приятель), нет ли у тебя листочка махорки? Страшно хочется курить, а свой табак я выкурил уже четыре года назад.

– Собака тебе приятель, а не я! – сердито ответил Макар. –

Видишь ты: украл коня и просит табаку! Пропадай ты совсем, мне и то не будет жалко.

И с этими словами Макар тронулся далее.

— А ведь напрасно ты не дал ему листок махорки, — сказал ему поп Иван. — За это на суде Тойон простил бы тебе не менее сотни грехов.

— Так что ж ты не сказал мне этого ранее? — огрызнулся Макар.

— Да уж теперь поздно учить тебя. Ты должен был узнать об этом от своих попов при жизни.

Макар осердился. От попов он не видал никакого толку: получают руту, а не научили даже, когда надо дать татарину листок табаку, чтобы получить отпущение грехов. Шутка ли: сто грехов... и всего за один листочек!..

Это ведь чего-нибудь стоит!

— Постой, — сказал он. — Будет с нас одного листочка, а остальные четыре я отдам сейчас татарину. Это будет четыре сотни грехов.

— Оглянись, — сказал попик.

Макар оглянулся. Сзади расстилалась только белая пустынная равнина. Татарин мелькнул на одну секунду далекою точкой. Макару казалось, что он увидел, как белая пыль летит из-под копыт его пегашки, но через секунду и эта точка исчезла.

— Ну, ну, — сказал Макар, — будет татарину и без табаку ладно. Видишь ты: испортил коня, проклятый!

— Нет, — сказал попик, — он не испортил твоего коня, но конь этот краденый. Разве ты не слышал от стариков, что на краденном коне далеко не уедешь?

Макар действительно слышал это от стариков, но так как во время своей жизни видел нередко, что татары уезжали на краденых конях до самого города, то, понятно, он старикам не давал веры. Теперь же он пришел к убеждению, что и старики говорят иногда правду.

И он стал обгонять на равнине множество всадников. Все они мчались так же быстро, как и первый. Кони летели, как птицы, всадники были в поту, а между тем Макар то и дело обгонял их и оставлял за собою.

Большею частью это были татары, но попадались и коренные чалганцы; некоторые из последних сидели на краденых быках и подгоняли их талинками.

Макар смотрел на татар враждебно и каждый раз ворчал, что этого им еще мало. Когда же он встречался с чалганцами, то останавливался и благодушно беседовал с ними: все-таки это были приятели, хоть и воры. Порой он даже выражал свое участие тем, что, подняв на дороге талинку, усердно подгонял сзади быков и коней; но лишь только сам он делал несколько шагов, как уже всадники оставались сзади чуть заметными точками.

Равнина казалась бесконечною. Они то и дело обгоняли всадников и пеших людей, а между тем вокруг все казалось пусто. Между каждыми двумя путниками лежали как будто

целые сотни или даже тысячи верст.

Между другими фигурами Макару попался незнакомый старик; он был, очевидно, чалганец; это было видно по лицу, по одежде, даже по походке, но Макар не мог припомнить, чтоб он когда-либо прежде его видел. На старике была рваная *сона*, большой ухастый *бергес*, тоже рваный, кожаные старые штаны и рваные телячьи торбаса. Но что хуже всего, – несмотря на свою старость, – он тащил на плечах еще более древнюю старуху, ноги которой волочились по земле. Старик трудно дышал, заплетался и тяжело налегал на палку. Макару стало его жалко. Он остановился. Старик остановился тоже.

– *Kancé* (говори)! – сказал Макар приветливо.

– Нет, – ответил старик.

– Что слышал?

– Ничего не слышал.

– Что видел?

– Ничего не видал.

Макар помолчал немного и тогда уже счел возможным расспросить старика, кто он и откуда плетется.

Старик назвался. Давно уже, – сам он не знает, сколько лет назад, – он оставил Чалган и ушел на «гору» спасаться. Там он ничего не делал, ел только морошку и корни, не пахал, не сеял, не молот на жернове хлеба и не платил податей. Когда он умер, то пришел к Тойону на суд. Тойон спросил, кто он и что делал. Он рассказал, что ушел на «гору» и спасал-

ся. «Хорошо, – сказал Тойон, – а где же твоя старуха? Поди, приведи сюда твою старуху». И он пошел за старухой, а старуха перед смертью побиралась, и ее некому было кормить, и у нее не было ни дома, ни коровы, ни хлеба. Она ослабела и не может волочить ног. И он теперь должен тащить к Тойону старуху на себе.

Старик заплакал, а старуха ударила его ногою, точно быка, и сказала слабым, но сердитым голосом:

– Неси!

Макару стало еще более жаль старика, и он порадовался от души, что ему не удалось уйти на «гору». Его старуха была громадная, рослая старуха, и ему нести ее было бы еще труднее. А если бы, вдобавок, она стала пинать его ногою, как быка, то, наверное, скоро заездила бы до второй смерти.

Из сожаления он взял было старуху за ноги, чтобы помочь *догóру*<sup>18</sup>, но едва сделал два-три шага, как должен был быстро выпустить старухины ноги, чтоб они не остались у него в руках. В одну минуту старик с своей ношей исчезли из виду.

В дальнейшем пути не встречалось более лиц, которых Макар удостоил бы своим особенным вниманием. Тут были воры, нагруженные, как выючная скотина, краденым добром и подвигавшиеся шаг за шагом; толстые якутские тойоны тряслись, сидя на высоких седлах, точно башни, задевая за облака высокими шапками. Тут же, рядом, вприпрыжку бежали бедные *комночиты* (работники), поджарые и легкие,

---

<sup>18</sup> Догóр – друг, приятель. (Прим. автора.)

как зайцы. Шел мрачный убийца, весь в крови, с дико блуждающим взором. Напрасно кидался он в чистый снег, чтобы смыть кровавые пятна. Снег мгновенно обагрался кругом, как кипень, а пятна на убийце выступали яснее, и в его взоре виднелись дикое отчаяние и ужас. И он все шел, избегая чужих испуганных взглядов.

А маленькие детские души то и дело мелькали в воздухе, точно птички. Они летели большими стаями, и Макара это не удивляло. Дурная, грубая пища, грязь, огонь камельков и холодные сквозняки юрт выживали их из одного Чалгана чуть не сотнями. Поравнявшись с убийцей, они испуганной стаей кидались далеко в сторону, и долго еще после того слышался в воздухе быстрый, тревожный звон их маленьких крыльев.

Макар не мог не заметить, что он подвигался сравнительно с другими довольно быстро, и поспешил приписать это своей добродетели.

– Слушай, *агабыт* (отец), – сказал он, – как ты думаешь? Я хоть и любил при жизни выпить, а человек был хороший. Бог меня любит...

Он пытливо взглянул на попа Ивана. У него была задняя мысль: вывести кое-что от старого попаки. Но тот сказал кратко:

– Не гордись! Уже близко. Скоро узнаешь сам.

Макар и не заметил раньше, что на равнине как будто стало светать. Прежде всего, из-за горизонта выбежало несколь-

ко светлых лучей. Они быстро пробежали по небу и потушили яркие звезды. И звезды погасли, а луна закатилась. И снежная равнина потемнела.

Тогда над нею поднялись туманы и стали кругом равнины, как почетная стража.

И в одном месте, на востоке, туманы стали светлее, точно воины, одетые в золото.

И потом туманы заколыхались, золотые воины наклонились долу.

И из-за них вышло солнце и стало на их золотистых хребтах и оглянуло равнину.

И равнина вся засияла невиданным, ослепительным светом.

И туманы торжественно поднялись огромным хороводом, разорвались на западе и, колеблясь, понеслись кверху.

И Макару казалось, что он слышит чудную песню. Это была, как будто, та самая, давно знакомая песня, которою земля каждый раз приветствует солнце. Но Макар никогда еще не обращал на нее должного внимания и только в первый раз понял, какая это чудная песня.

Он стоял и слушал и не хотел идти далее, а хотел вечно стоять здесь и слушать.

\* \* \*

Но поп Иван тронул его за рукав.



— Войдем, — сказал он. — Мы пришли.

Тогда Макар увидел, что они стоят у большой двери, которую раньше скрывали туманы.

Ему очень не хотелось идти, но, — делать нечего, — он повиновался.

## VI

Они вошли в хорошую, просторную избу, и, только войдя сюда, Макар заметил, что на дворе был сильный мороз. Посредине избы стоял камелек чудной резной работы, из чистого серебра, и в нем пылали золотые поленья, давая ровное тепло, сразу пронизавшее все тело. Огонь этого чудного камелька не резал глаз, не жег, а только грел, и Макару опять захотелось вечно стоять здесь и греться. Поп Иван также подошел к камельку и протянул к нему иззябшие руки.

В избе было четверо дверей, из которых только одна вела наружу, а в другие то и дело входили и выходили какие-то молодые люди в длинных белых рубахах. Макар подумал, что это, должно быть, работники здешнего Тойона. Ему казалось, что он где-то их уже видел, но не мог вспомнить, где именно. Немало удивляло его то обстоятельство, что у каждого работника на спине болтались большие белые крылья, и он подумал, что, вероятно, у Тойона есть еще другие работники, так как эти, наверное, не могли бы со своими крыльями пробираться сквозь чащу тайги для рубки дров или

жердей.

Один из работников подошел тоже к камельку и, повернувшись к нему спиной, заговорил с попом Иваном:

– Говори!

– Нечего, – отвечал попик.

– Что ты слышал на свете?

– Ничего не слыхал.

– Что видел?

– Ничего не видал!

Оба помолчали, и тогда поп сказал:

– Привел, вот, одного.

– Это чалганец? – спросил работник.

– Да, чалганец.

– Ну, значит, надо приготовить большие весы.

И он ушел в одну из дверей, чтобы распорядиться, а Макара спросил у попа, зачем нужны весы и почему именно большие?

– Видишь, – ответил поп несколько смущенно, – весы нужны, чтобы взвесить добро и зло, какое ты сделал при жизни. У всех остальных людей зло и добро приблизительно уравнивают чашки; у одних чалганцев грехов так много, что для них Тойон велел сделать особые весы с громадной чашкой для грехов.

От этих слов у Макара как будто скребнуло по сердцу. Он стал робеть.

Работники внесли и поставили большие весы. Одна чашка

была золотая и маленькая, другая – деревянная, громадных размеров. Под последней вдруг открылось глубокое черное отверстие.

Макар подошел и тщательно осмотрел весы, чтобы не было фальши. Но фальши не было. Чашки стояли ровно, не колеблясь.

Впрочем, он не вполне понимал их устройство и предпочел бы иметь дело с безменом, на котором в течение долгой жизни он отлично выучился и продавать, и покупать с некоторой выгодой для себя.

– Тойон идет, – сказал вдруг поп Иван и стал быстро обдергивать ряску.

Средняя дверь отворилась, и вошел старый-престарый Тойон, с большою серебристою бородой, спускавшеюся ниже пояса. Он был одет в богатые, неизвестные Макару меха и ткани, а на ногах у него были теплые сапоги, обшитые плисом, какие Макар видел на старом иконописце.

И при первом взгляде на старого Тойона Макар узнал, что это тот самый старик, которого он видел нарисованным в церкви. Только тут с ним не было сына; Макар подумал, что, вероятно, последний ушел по хозяйству. Зато голубь влетел в комнату и, покружившись у старика над головою, сел к нему на колени. И старый Тойон гладил голубя рукою, сидя на особо приготовленном для него стуле.

Лицо старого Тойона было доброе, и, когда у Макара становилось слишком уж тяжело на сердце, он смотрел на это

лицо, и ему становилось легче.

А на сердце у него становилось тяжело потому, что он вспомнил вдруг всю свою жизнь до последних подробностей, вспомнил каждый свой шаг и каждый удар топора, и каждое срубленное дерево, и каждый обман, и каждую рюмку выпитой водки.

И ему стало стыдно и страшно. Но взглянув в лицо старого Тойона, он ободрился.

А ободрившись, подумал, что, быть может, кое-что удастся и скрыть.

Старый Тойон посмотрел на него и спросил, кто он и откуда, и как зовут, и сколько ему лет отроду.

Когда Макар ответил, старый Тойон спросил:

– Что сделал ты в своей жизни?

– Сам знаешь, – ответил Макар. – У тебя должно быть записано.

Макар испытывал старого Тойона, желая узнать, действительно ли у него записано все.

– Говори сам, не молчи! – сказал старый Тойон.

И Макар опять ободрился.

Он стал перечислять свои работы, и хотя он помнил каждый удар топора и каждую срубленную жердь, и каждую борозду, проведенную сохой, но он прибавлял целые тысячи жердей и сотни возов дров, и сотни бревен, и сотни пудов посева.

Когда он все перечислил, старый Тойон обратился к попу

Ивану:

– Принеси-ка сюда книгу.

Тогда Макар увидел, что поп Иван служит у Тойона сурук-сутом (писарем), и очень осердился, что тот по-приятельски не сказал ему об этом раньше.

Поп Иван принес большую книгу, развернул ее и стал читать.

– Загляни-ка, – сказал старый Тойон, – сколько жердей?

Поп Иван посмотрел и сказал с прискорбием:

– Он прибавил целых тринадцать тысяч.

– Врет он! – крикнул Макар запальчиво. – Он, верно, ошибся, потому что он пьяница и умер нехорошею смертью!

– Замолчи ты! – сказал старый Тойон. – Брал ли он с тебя лишнее за крестины или за свадьбы? Вымогал ли он ругу?

– Что говорить напрасно! – ответил Макар.

– Вот видишь, – сказал Тойон, – я знаю и сам, что он любил выпить...

И старый Тойон осердился.

– Читай теперь его грехи по книге, потому что он обманщик и я ему не верю, – сказал он попу Ивану.

А между тем работники кинули на золотую чашку Макаровы жерди, и его дрова, и его пахоту, и всю его работу. И всего оказалось так много, что золотая чашка весов опустилась, а деревянная поднялась высоко, высоко, и ее нельзя было достать руками, и молодые Божьи работники взлетели на своих крыльях, и целая сотня тянула ее веревками вниз.

Тяжела была работа чалганца!

А поп Иван стал высчитывать обманы, и оказалось, что обманов было — двадцать одна тысяча девятьсот тридцать три обмана; и поп стал высчитывать, сколько Макар выпил бутылок водки, и оказалось — четыреста бутылок; и поп читал далее, а Макар видел, что деревянная чашка весов перетягивает золотую и что она опускается уже в яму, и пока поп читал, она все опускалась.

Тогда Макар подумал про себя, что дело его плохо и, подойдя к весам, попытался незаметно поддержать чашку ногою. Но один из работников увидел это, и у них вышел шум.

— Что там такое? — спросил старый Тойон.

— Да вот он хотел поддержать весы ногою, — ответил работник.

Тогда Тойон гневно обратился к Макару и сказал:

— Вижу, что ты обманщик, ленивец и пьяница... И за тобой осталась недоимка, и поп за тобою считает ругу, и исправник грешит из-за тебя, ругая тебя каждый раз скверными словами!..

И обратясь к попу Ивану, старый Тойон спросил:

— Кто в Чалгане кладет на лошадей более всех клади и кто гоняет их всех больше?

Поп Иван ответил:

— Церковный трапезник. Он гоняет почту и возит исправника.

Тогда старый Тойон сказал:

– Отдать этого ленивца трапезнику в мерины, и пусть он возит на нем исправника, пока не заедит... А там мы посмотрим.

И только что старый Тойон сказал это слово, как дверь отворилась и в избу вошел сын старого Тойона и сел от него по правую руку.

И сын сказал:

– Я слышал твой приговор... Я долго жил на свете и знаю тамошние дела: тяжело будет бедному человеку возить исправника! Но... да будет!.. Только, может быть, он еще что-нибудь скажет. Говори, *барахсан* (бедняга)!

Тогда случилось что-то странное. Макар, тот самый Макар, который никогда в жизни не произносил более десяти слов кряду, вдруг ощутил в себе дар слова. Он заговорил и сам изумился. Стало как бы два Макара: один говорил, другой слушал и удивлялся. Он не верил своим ушам. Речь у него лилась плавно и страстно, слова гнались одно за другим вперегонку и потом становились длинными, стройными рядами. Он не робел. Если ему и случалось запнуться, то тотчас же он оправлялся и кричал вдвое громче. А главное – чувствовал сам, что говорил убедительно.

Старый Тойон, немного осердившийся сначала за его дерзость, стал потом слушать с большим вниманием, как бы убедившись, что Макар не такой уж дурак, каким казался сначала. Поп Иван в первую минуту даже испугался и стал дергать Макара за полу *соны*, но Макар отмахнулся и продолжал по-

прежнему. Потом и попик перестал пугаться и даже расцвел улыбкой, видя, что его прихожанин режет правду и что эта правда приходится по сердцу старому Тойону. Даже молодые люди в длинных рубахах и с белыми крыльями, жившие у старого Тойона в работниках, приходили из своей половины к дверям и с удивлением слушали речь Макара, поталкивая друг друга локтями.

Он начал с того, что не желает идти к трапезнику в мерины. И не потому не желает, что боится тяжелой работы, а потому что это решение неправильно. А так как это решение неправильно, то он ему не подчинится и не поведет даже ухом, не двинет ногою. Пусть с ним делают, что хотят! Пусть даже отдадут чертям в вечные комночиты, – он не будет возить исправника, потому что это неправильно. И пусть не думают, что ему страшно положение мерина: трапезник гоняет мерина, но кормит его овсом, а его гоняли всю жизнь, но овсом никогда не кормили.

– Кто тебя гонял? – спросил старый Тойон с сердцем.

Да, его гоняли всю жизнь! Гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голод, гоняли морозы и жары, дожди и засухи; гоняла промерзшая земля и злая тайга!.. Скотина идет вперед и смотрит в землю, не зная, куда ее гонят... И он также... Разве он знал, что поп читает в церкви и за что идет ему руга? Разве он знал, зачем и куда увели его старшего сына, которого взяли в солдаты, и где он умер, и где



теперь лежат его бедные кости?

Говорят, он пил много водки? Конечно, это правда: его сердце просило водки...

– Сколько, говоришь ты, бутылок?

– Четыреста, – ответил поп Иван, заглянув в книгу.

Хорошо! Но разве это была водка? Три четверти было воды и только одна четверть настоящей водки, да еще настой табаку. Стало быть, триста бутылок надо скинуть со счета.

– Правду ли он говорит все это? – спросил старый Тойон у попа Ивана, и видно было, что он еще сердится.

– Чистую правду, – торопливо ответил поп, а Макар продолжал.

Он прибавил тринадцать тысяч жердей? Пусть так! Пусть он нарубил только шестнадцать тысяч. А разве этого мало? И притом две тысячи он рубил, когда у него была больна первая его жена... И у него было тяжело на сердце, и он хотел сидеть у своей старухи, а нужда его гнала в тайгу... И в тайге он плакал, и слезы мерзли у него на ресницах, и от горя холод проникал до самого сердца... А он рубил!

А после баба умерла. Ее надо было хоронить, а у него не было денег. И он нанялся рубить дрова, чтобы заплатить за женин дом на том свете... А купец увидел, что ему нужна, и дал только по десяти копеек... И старуха лежала одна в нетопленной, мерзлой избе, а он опять рубил и плакал. Он полагал, что эти возы надо считать впятеро и даже более.

У старого Тойона показались на глазах слезы, и Макар

увидел, что чашки весов колыхнулись, и деревянная приподнялась, а золотая опустилась.

А Макар продолжал: у них все записано в книге... Пусть же они поищут: когда он испытал от кого-нибудь ласку, привет или радость? Где его дети? Когда они умирали, ему было горько и тяжело, а когда вырастали, то уходили от него, чтобы в одиночку биться с тяжелой нуждой. И он состарился один со своей второю старухой и видел, как его оставляют силы и подходит злая, бесприютная дряхлость. Они стояли одинокие, как стоят в степи две сиротливые елки, которых бьют отовсюду жестокие метели.

– Правда ли? – спросил опять старый Тойон.

И поп поспешил ответить:

– Чистая правда!

И тогда весы опять дрогнули... Но старый Тойон задумался.

– Что же это, – сказал он, – ведь есть же у меня на земле настоящие праведники... Глаза их ясны, и лица светлы, и одежды без пятен... Сердца их мягки, как добрая почва; принимают доброе семя и возвращают крин сельный и благовонные всходы, запах которых угоден передо мною. А ты посмотри на себя...

И все взгляды устремились на Макара, и он устыдился. Он почувствовал, что глаза его мутны и лицо темно, волосы и борода всклокочены, одежда изорвана... И хотя задолго до смерти он все собирался купить сапоги, чтобы явиться на

суд, как подобает настоящему крестьянину, но все пропивал деньги, и теперь стоял перед Тойоном, как последний якут, в дрянных торбасишках... И он пожелал провалиться сквозь землю.

– Лицо твое темное, – продолжал старый Тойон, – глаза мутные и одежда разорвана. А сердце твое поросло бурьяном и тернием, и горькою полынью. Вот почему я люблю моих праведных и отвращаю лицо от подобных тебе нечестивцев.

Сердце Макара сжалось. Он чувствовал стыд собственного существования. Он было понурил голову, но вдруг поднял ее и заговорил опять:

– О каких это праведниках говорит Тойон? Если о тех, что жили на земле в одно время с Макаром в богатых хоромах, то Макар их знает... Глаза их ясны, потому что не проливали слез столько, сколько их пролил Макар, и лица их светлы, потому что обмыты духами, а чистые одежды сотканы чужими руками.

Макар опять понурил голову, но тотчас же опять поднял ее.

А между тем разве он не видит, что и он родился, как другие, – с ясными, открытыми очами, в которых отражались земля и небо, и с чистым сердцем, готовым раскрыться на все прекрасное в мире? И если теперь он желает скрыть под землю свою мрачную и позорную фигуру, то в этом вина не его... А чья же?... – Этого он не знает... Но он знает одно, что в сердце его истощилось терпение.

## VII

Конечно, если бы Макар мог видеть, какое действие производила его речь на старого Тойона, если б он видел, что каждое его гневное слово падало на золотую чашку, как свинцовая гиря, он усмирил бы свое сердце. Но он всего этого не видел, потому что в его сердце вливалось слепое отчаяние.

Вот он оглядел всю свою горькую жизнь. Как мог он до сих пор выносить это ужасное бремя? Он нес его потому, что впереди все еще маячила — звездочкой в тумане — надежда. Он жив, стало быть, может, должен еще испытать лучшую долю... Теперь он стоял у конца, и надежда угасла...

Тогда в его душе стало темно, и в ней забушевала ярость, как буря в пустой степи глухою ночью. Он забыл, где он, пред чьим лицом предстоит, — забыл все, кроме своего гнева.

...

Но старый Тойон сказал ему:

– погоди, *барахсан*! Ты не на земле... Здесь и для тебя найдется правда...

И Макар дрогнул. На сердце его пало сознание, что его жалеют, и оно смягчилось; а так как перед его глазами все стояла его бедная жизнь, от первого дня до последнего, то и ему стало самого себя невыносимо жалко. И он заплакал...

И старый Тойон тоже плакал... И плакал старый попик

Иван, и молодые Божьи работники лили слезы, утирая их широкими белыми рукавами.

А весы все колыхались, и деревянная чашка подымалась все выше и выше!

*1883 г.*

# Соколинец

## (Из рассказов о бродягах)

### I

...Мой сожитель уехал. Мне приходилось ночевать одному в нашей юрте.

Не работалось; я не зажигал огня и, полулежа на своей постели, незаметно отдавался тяжелым впечатлениям молчания и мрака, пока короткий северный день угасал среди холодного тумана. Последние слабые лучи понемногу уходили сквозь льдины окон из небольшой юрты; густая тьма выползала из углов, заволакивала наклонные стены, которые, казалось, все плотнее сдвигаются над головой. Несколько времени маячили еще в глазах очертания стоявшего в середине юрты громадного камелька. Казалось, неуклюжий пенат якутского жилья простирает навстречу тьме широко раздвинутые руки, точно в молчаливой борьбе... Но вот и эти смутные очертания исчезли... Тьма!.. Только в трех местах тихо мерцали расплывчатые фосфорические пятна; это снаружи сквозь оконные льдины тускло заглядывал в юрту мертвающий якутский мороз.

Минуты, часы безмолвною чередой пробегали над моей

головой, и я не спохватился, как незаметно подкрался тот роковой час, когда тоска так властно овладевает сердцем, когда «чужая сторона» враждебно веет на него всем своим мраком и холодом, когда перед встревоженным воображением грозно встают неизмеримую, неодолимую далью все эти горы, леса, бесконечные степи, которые залегли между тобой и всем дорогим, далеким, потерянным, что так неотступно манит к себе и что, в этот час, как будто совсем исчезает из виду, рея в сумрачной дали слабым угасающим огоньком умирающей надежды... А подавленное, но все же неотвязное горе, спрятанное далеко-далеко, в глубине сердца, смело подымет теперь зловещую голову и, среди мертвого затишья во мраке, так явственно шепчет ужасные роковые слова: «навсегда... в этом гробу, навсегда!...»

Легкий, ласковый визг, донесшийся до меня с плоской крыши сквозь трубу камелька, вывел меня из тяжелого оцепенения. Это умный друг, верный пес Цербер, продрогший на своем сторожевом посту, спрашивал, что со мною и почему в такой страшный мороз я не зажигаю огня.

Я отряхнулся, почувствовал, что изнемогаю в борьбе с молчанием и мраком, и решил прибегнуть к спасительному средству, которое было тут же под руками. Средство это – бог юрты, могучий огонь.

У якутов по зимам никогда не прекращается топка, и потому у них нет приспособлений для закрывания трубы. Мы кое-как приладили эти приспособления, наша труба закры-

валась снаружи, и каждый раз для этого приходилось взбираться на плоскую крышу юрты.

Я взошел на нее по ступенькам, протоптанным в снегу, которым юрта была закидана доверху. Наше жилье стояло на краю слободы, в некотором отдалении... Обыкновенно с нашей крыши можно было видеть всю небольшую равнину и замыкавшие ее горы, и сотни слободских юрт, в которых жили давно обьякутившиеся потомки русских поселенцев и, частью, ссыльные татары. Но теперь все это потонуло в сером, холодном, непроницаемом для глаз тумане. Туман стоял неподвижно, выжатый из воздуха сорокаградусным морозом, и все тяжелее налегал на примолкшую землю; всюду взгляд упирался в бесформенную, безжизненную серую массу, и только вверху, прямо над головой, где-то далеко-далеко висела одинокая звезда, пронизывавшая холодную пелену острым лучом.

А вокруг все замерло. Горный берег реки, бедные юрты селения, небольшая церковь, снежная гладь лугов, темная полоса тайги – все погрузилось в безбрежное туманное море. Крыша юрты, с ее грубо сколоченною из глины трубой, на которой я стоял с прижимавшеюся к моим ногам собакой, казалась островом, закинутым среди бесконечного, необозримого океана... Кругом – ни звука... Холодно и жутко... Ночь притаилась, охваченная ужасом, – чутким и напряженным.

Цербер тихо и как-то жалобно взвизгивал. Бедному псу,



по-видимому, тоже становилось страшно ввиду наступающего царства мертвящего мороза; он прижимался ко мне и, задумчиво вытягивая острую морду, настораживая чуткие уши, внимательно вглядывался в беспросветно-серую мглу.

Вдруг он повел ушами и заворчал. Я прислушался. Сначала все было по-прежнему тихо. Потом в этой напряженной тишине выделился звук, другой, третий... В морозном воздухе издали несли слабый топот далеко по лугам бегущей лошади.

Подумав об одиноком всаднике, которому, судя по слабому топоту, предстояло проехать еще версты три до слободы, я быстро сбежал с крыши по наклонной стенке и кинулся в юрту. Минута в воздухе с открытым лицом грозила отмороженным носом или щекою. Цербер, издав громкий и торопливый лай в направлении конского топота, последовал за мною.

Вскоре в камельке, широко зиявшем открытою пастью в середине юрты, вспыхнул огонек зажженной мною лучины. К этому огоньку я приставил сухих поленьев смолистой лиственницы, и в несколько мгновений мое жильё изменилось до неузнаваемости. Молчаливая юрта наполнилась вдруг говором и треском. Огонь сотней языков перебегал между поленьями, охватывал их, играл с ними, прыгал, рокотал, шипел и трещал. Что-то яркое, живое, торопливое и неугомонно-болтливое ворвалось в юрту, заглядывая во все ее углы и закоулки. По временам трескучее, разыгравшееся

пламя стихало. Тогда мне было слышно, как, вылетая в короткую прямую трубку камелька, шипели, трескались в морозном воздухе горячие искры. Но через минуту огонь принимался за свою игру с новой силой, и в юрте раздавались частые взрывы, точно пистолетные выстрелы.

Теперь я уже не чувствовал себя в такой степени одиноким, как прежде. Все, казалось, вокруг меня шевелится, говорит, суетится и пляшет. Оконные льдины, в которые за минуту перед тем глядела снаружи морозная ночь, теперь искрились и переливались отблеском пламени, точно самоцветные камни. Я находил особого рода отраду в мысли, что во мгле холодной ночи моя одинокая юрта сверкает светлыми льдинами и сыплет, точно маленький вулкан, целым снопом огненных искр, судорожно трепещущих в воздухе, среди клубов белого дыма.

Цербер уселся против камелька, уставился на огонь и сидит неподвижно, точно белое изваяние; по временам только он поворачивает ко мне голову, и в умных глазах собаки я читаю благодарность и ласку. Тяжелые шаги скрипят по двору у наружной стены, но Цербер остается спокоен, а только снисходительно взвизгивает; он знает, что это наши лошади, стоявшие до сих пор где-нибудь под плетнем, прижав уши и пожимаясь от мороза, вышли на огонь, чтобы стать у стены и смотреть на весело прыгающие искры, на широкую ленту теплого белого дыма.

Но вот собака с неудовольствием отвернулась от огня и

заворчала. Через минуту она бросилась к двери. Я выпустил Цербера, и пока он неистовствовал и заливался на своем обычном сторожевом посту, на крыше, я выглянул из сеней. Очевидно, одинокий путник, которого приближение я слышал ранее среди чуткого безмолвия морозной ночи, соблазнился моим веселым огнем. Он раздвигал теперь жерди моих ворот, чтобы провести во двор оседланную и навьюченную лошадь.

Я не ждал никого из знакомых. Якут едва ли приехал бы в слободу так поздно, а если б и приехал, то, без сомнения, знал бы, где живут его «догóры», а не повернул бы на первый огонь. Стало быть, рассуждал я, это может быть только поселенец. В обыкновенное время мы не особенно радовались подобным гостям, но теперь живой человек был очень кстати. Я знал, что скоро веселый огонь станет смолкать; пламя лениво и томно потянется по раскаленному дереву, потом останется только куча углей, и по ним, нашептывая что-то, побегут огненные змейки, все тише, все реже... Тогда в юрте настанет опять безмолвие мрака, а в мое сердце опять вольется тоска. Камелек глянет в темноте слабою искоркой из-под пепла, точно из полузакрытого глаза, — глянет раз и другой и... заснет. А я опять останусь один... один перед долгою, тоскливою, бесконечною ночью.

Мысль о том, что, быть может, мне придется провести ночь с человеком, прошлое которого запятнано кровью, не приходила мне в голову. Сибирь приучает видеть и в убий-

це человека, и хотя ближайшее знакомство не позволяет, конечно, особенно идеализировать «несчастненького», вламывавшего замки, воровавшего лошадей или проламывавшего темною ночью головы ближних, но все же это знакомство позволяет трезво ориентироваться среди сложных человеческих побуждений. Вы узнаете, когда и чего можно ждать от человека. Убийца не все же только убивает, он еще и живет, и чувствует то же, что чувствуют все остальные люди, в том числе и благодарность к тому, кто его приютил в мороз и непогоду. Но когда мне приходилось приобретать в этой среде новое знакомство и если при этом у нового знакомого оказывалась оседланная лошадь, а в седле болтались выючные «сумы-переметы», то вопрос о принадлежности лошади внушал некоторые сомнения, а содержимое «переметов» вызывало на размышления о способе его приобретения.

Тяжелая, обитая конской шкурой, дверь юрты приподнялась в наклонной стене; со двора хлынула волна пара, и к камельку подошел незнакомый пришелец. Это был мужчина высокого роста, широкоплечий и статный. Уже на первый взгляд можно было отличить, что это не якут, хотя одет он был по-якутски. На ногах у него были надеты «торбаса», из белой, как снег, конской шкуры. Широчайшие рукава якутской «соны»<sup>19</sup> подымались складками на плечах выше ушей. Голова и шея были закутаны большою шалью, концы которой завязаны вокруг стана. Вся шаль, вместе с острою вер-

---

<sup>19</sup> Сона – верхняя одежда, кафтан, шуба и т. д. (Прим. автора.)

хушкой торчавшей над нею якутской шапки («бергес»), была обильно усыпана хлопьями крепкого, плотно смерзшегося инея.

Незнакомец приблизился к камельку и неловко, полустылыми руками стал развязывать шаль, потом ремешки шапки. Когда он откинул свой треух на плечи, я увидел молодое, раскрасневшееся от мороза лицо мужчины лет тридцати; крупные черты его были отмечены тем особенным выражением, какое нередко приходилось мне замечать на лицах старост арестантских артелей и вообще на лицах людей, привыкших к признанию и авторитету в своей среде, но в то же время вынужденных постоянно держаться настороже с посторонними. Черные, выразительные глаза его кидали быстрые, короткие взгляды. Нижняя часть лица несколько выдавалась вперед, обнаруживая пылкость страстной натуры, но бродяга (по некоторым характерным, хотя трудно уловимым, признакам я сразу предположил в моем госте бродягу) давно уже привык сдерживать эту пылкость. Только легкое подергивание нижней губы и нервная игра мускулов выдавали по временам беспокойную напряженность внутренней борьбы.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.